ISSN 0130–1640

ЗНАНИЕ-СИЛА 2/91



РОССИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА



ЗНАНИЕ — СИЛА 2/91

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи

Учредители: Всесоюзное общество «Знание» и трудовой коллектив редакции

№ 2 (764)
Издается с 1926 года

Февраль — многозначащий месяц в истории России. Напомним лишь две даты: февраль 1917 — Великая революция, февраль 1861 — освобождение крестьян. Поэтому,— а также надеясь, что 1991 год станет годом окончательной ликвидации крепостного права,— именно февральский номер редакция решила посвятить РОССИИ начала века.

Мы вроде бы знаем ту эпоху — и не только по Краткому курсу истории ВКП(б), но и по множеству воспоминаний современников предреволюционных лет, не только по бесконечным статистическим сводкам, сравнивающим 1930, 1945, 1965 и другие годы с пресловутым 1913, но и по старенькому верному Брокгаузу, не только по Горькому, но и по Блоку. По Вересаеву, Бунину, Короленко, Белому и многим, многим другим писателям.

И одновременно мы совсем не знаем страну, отдаленную от нас лишь Октябрем 1917 года. Не знаем потому, что смесь правды и лжи, которую мы впитывали всю жизнь под названием «отечественная история», вкупе с умолчаниями и провалами, когда речь шла о самых драматичных страницах российского бытия, больше всего исказила в нашем восприятии как раз годы, предшествующие революции. Отделять одно от другого непросто и небыстро. Однако процесс этот начался.

Редакция отдает себе отчет, что на сотне страниц одного номера рассказать можно лишь ничтожно мало, и наша задача — скорее пробудить читательский интерес, чем удовлетворить его.

В номере публикуются материалы как наших современников, так и современников тех уже давних исторических событий, свидетельства историков, писателей, публицистов, а также политических деятелей разных убеждений.

Мы не старались привести всю разноголосицу мнений и фактов к одному знаменателю. Да это и не удалось бы.

Еще недавно мы верили, что Россия страшно бедна культурно,— какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский сделались учителями человечества, чтобы алчные до экзотических впечатлений пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия — не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна представала взорам. Если бы сейчас она погибла безвозвратно, она уже врезала свой след в историю мира — великая среди великих — не обещание, а зрелый плод. Попробуйте ее осмыслить — и насколько беднее станет без нее культурное человечество.

Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло для всех — еще не видевших — великолепную красоту русской культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны Казанского собора, средневековая Италия делала понятной Москву. Совсем недавно, после первой революции нашей, совершилось это чудо: воскрешение русской красоты, не сусальной, славянофильской, провинциальной, а строгой, вселенской и вечной. Мы не успели пересчитать наши церкви-музеи, описать старые города-сокровища, не успели собрать нашу живопись. Но сколько открытий уже сделано. Мы знаем, что в темной, презираемой иконе таилось живописное искусство дух захватывающей мощи. Война прервала в самом начале эту работу их изучения. Мы к ней вернемся. Если Россия пала навеки — мы не верим в это,— тогда мы будем с лопатой в руке рыться в ее могилах, как на священной почве Греции, чтобы спасти для мира останки божественной красоты.

Г. Федотов

КОГДА МЫ ПРОСКОЧИЛИ ПОВОРОТ?

Революции не выполняют своих обещаний. И происходит это не потому, что вожди революций сознательно обманывают народ. Дело в другом. Слишком сложен исторический процесс, чтобы можно было рассчитать все последствия сделанного шага. И чем более значительные перемены задумываются и осуществляются в ходе революции, чем более широкие массы вовлекаются в борьбу, тем дальше оказывается расстояние от лозунгов революционеров до результатов их дел. И тогда возникает желание оглянуться назад и посмотреть, где и когда пропущен поворот, за которым лежал правильный путь. Разумеется, никакая машина времени не перенесет нас назад, на ту развилку, где наши предки ошиблись в выборе пути. Да и вряд ли мы договоримся, где она, эта развилка. Но во времена, когда народ снова оказывается на перепутье, то или иное истолкование истории становится оружием в сегодняшней политической борьбе. И в ходе такой борьбы исследовательский вопрос, почему произошла революция, превращается в риторический — нужна ли она была, а затем и в поиски виноватых в ней.

Между тем революция в России была неизбежна. Только высокоразвитый капитализм, кажется, научился амортизировать противоречия различных групп населения, находить мирный выход из них на путях эволюции. И то потребовалось две мировые войны, временная (а в нашем случае — долговременная) победа тоталитарных режимов во многих странах, чтобы правящие круги высокоразвитых стран усвоили, что вовремя сделанные уступки отвечают их же интересам. Капиталистический строй в этих государствах утверждался путем революций. В Англии они прошли в XVII веке, открыв дорогу дальнейшему эволюционному развитию. Во Франции первая из буржуазных революций произошла в конце XVIII века. Буржуазной революцией была и война за независимость США. Лишь в XIX веке утвердился капиталистический строй в Германии и Италии. Россия на пороге XX века все еще стояла перед буржуазной революцией.

Почему так получилось?

Отложенные «про запас» реформы очень тянут карман. Сначала отодвигается решение какой-то одной проблемы. Потом в нее упирается следующая. Постепенно образуется завал, из которого, как в забытой ныне игре в бирюльки, очень трудно вытянуть что-то одно, не обрушив всего остального. И тогда у власть имущих возникает желание не трогать ничего, пока гром не грянет.

В. Дякин,
доктор исторических наук

Сорок потерянных лет

Первый раз гром грянул в Крымскую войну. Цепляясь за крепостное право, Россия проспала промышленный переворот в Европе. Кремневые ружья — против нарезных, парусный флот — против парового, почти полное отсутствие железных дорог. Английские корабли доставляли войска из Лондона в Крым быстрее, чем до него доходила из Петербурга русская пехота. Поражение в войне показало общую слабость власти. Дальше откладывать реформы стало невозможно.

Мы очень долго твердили, что революционные ситуации начинаются с недовольства масс. Это не так. Пока власть крепка и уверена в себе, она не обращает внимания ни на массы внизу, ни на привилегированное общество рядом с собой. Не сумев скрыть свою слабость, она дает обществу повод открыто заговорить о том, о чем раньше шептались в узком кругу. Обратившись к обществу за советом, она получает в ответ требования. Кризис верхов расходится кругами по воде, приводя в движение массы. Торопясь, пока до этого дело не дошло, Александр II



К. Малевич. «Крестьянин». 1928—1932 годы.

произнес свою знаменитую фразу: «Лучше мы освободим крестьян сверху, нежели ждать, когда они сами освободят себя снизу». Отмена крепостного права потребовала реформы местного управления и суда. Современники назвали шестидесятые годы XIX века эпохой великих реформ. Советский историк Н. Я. Эйдельман — революцией сверху.

Я не могу согласиться с такой оценкой. Я не отрицаю, естественно, значения этих реформ. Но на революцию они «не тянут». Создав органы местного самоуправления — земства, Александр II категорически отказывался «увенчать здание» общероссийским представительным собранием. Он не допускал и мысли, чтоб даже и министры приходили к единому мнению по каким-либо вопросам без него. Всесильный глава третьего отделения П. А. Шувалов проявил себя сторонником представительных учреждений и объединенного кабинета. «Вы предпочитаете Лондон?» — спросил его Александр, и министр отправился в почетную посольскую

ссылку. Реформы шестидесятых годов оставили Россию такой же самодержавной монархией, какой она была и до них. Остались сословные привилегии дворянства и ограничения в гражданских и имущественных правах крестьян. Революции сверху не было. Больше того, на мой взгляд, именно в шестидесятые годы Россия проскочила ту последнюю, ну, может быть, предпоследнюю развилку, по которой можно было вырваться из колеи, с каждым годом все неотвратимее приближавшей к революции снизу.

Что я имею в виду? Революцию могло предотвратить постепенное превращение неограниченной монархии в конституционную. Но добровольно от неограниченной власти не отказываются. Основная масса поместного дворянства была заинтересована в сохранении самодержавия и сословного строя. На них держалось экономическое благополучие помещиков и их влияние в стране. Требовать конституционных прав и свободы предпринимательства — дело буржуазии. Она в России была слаба и в середине XIX века голоса не имела. Реформа 1861 года сняла часть преград на пути ее роста. Но не все. Среди прочего осталась община.

Об общине нельзя говорить однозначно. В жизни крестьян она играла огромную роль. Вместе, всем миром, было легче защищаться от стихийных бедствий, от барина и начальника. Деревне было выгодно иметь общий луг и лес, общие места водопоя для скота. Община приглядывала за сиротами и бездетными стариками. Но именно община, а не отдельный крестьянин или крестьянская семья, распоряжалась и пашней. Пахотные земли периодически делились по «душам», по числу работников-мужчин. Стремление к справедливому дележу перерастало в мелочную уравнительность. Несколько десятин, приходившихся на двор, отводились в разных местах — в низинке и на пригорке, на песке и на глине, ближе к деревне и дальше. Число таких полосок иногда измерялось десятками, а ширина их — аршинами и даже лаптями. На этих полосках был возможен только общий севооборот: сей то же, что все, и тогда же, когда все, убирай одновременно со всеми. Иначе выпущенный на поле скот затопчет твою полосу. Нет смысла удобрять и обихаживать землю — при переделе она может достаться другому. Община мешает сельскохозяйственному прогрессу. Она не дает умереть с голоду, но и не позволяет развернуться более предприимчивому и оборотистому.

Конечно, несмотря на общину, внутри нее расслоение крестьян происходило. Одни нищали, другие богатели. Но этот процесс шел слишком медленно. Из ста или тысячи зажиточных крестьян только один выбьется в купцы или заведет фабрику. Но сначала должны появиться зажиточные крестьяне. И только зажиточные будут надежными покупателями у этого купца и фабриканта. Много ли может позволить себе бедняк? Задерживая расслоение крестьянства, община замедляла накопление капитала и создание прочного внутреннего рынка для промышленности.

Пороки общинного землепользования понимали многие виднейшие сановники Александра II. П. А. Валуев, министр внутренних дел, а затем государственных имуществ, — умница, англоман, с тревогой предсказывавший в своих дневниках гибель того строя, которому он служил, — в 1861 году докладывал царю: «Понятие о поземельном «мире» составляет вообще камень преткновения на пути правильного развития хозяйственного быта крестьян. Земледелие, как и всякая другая отрасль промышленности, требует обеспечения в пользу трудящегося результатов его труда. Это обеспечение возможно только при личной, а не общинной собственности». Важно заметить и еще одну мысль Валуева: он понимал, что переход от общины к личной собственности требует времени и может быть только добровольным. «Мы не имеем в виду, — писал он еще в 1858 году, — торопливого и в



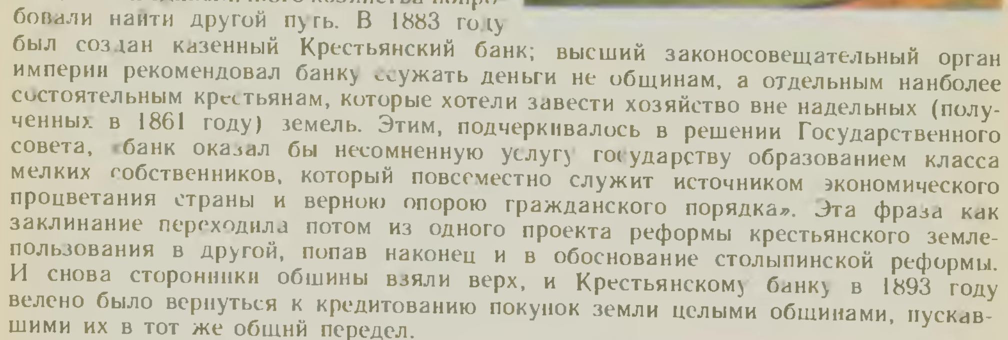

Крестьянин на пашне.




Проводы в армию, 1905 год.

особенности принудительного введения у нас формы участкового хозяйства». Близкий друг Александра II, фельдмаршал князь А. И. Барятинский в конце шестидесятых годов тоже выражал тревогу за судьбу «исправного поселянина», придавленного общиной. Он призывал «поощрить частную собственность крестьян» и этим «задушить зародыши коммунизма, поощрить семейную нравственность и повести страну по пути прогресса». Министр финансов первых лет царствования Александра III Н. Х. Бунге постоянно повторял, что только крестьянин-собственник способен «обратить бесплодную скалу в цветущий сад».


Н. Гончарова, «Отбелка холста», 1910 год.



Постепенно становилось ясно, что сторонников общины переломить не удается. Защитники единоличного хозяйства попробовали найти другой путь. В 1883 году был создан казенный Крестьянский банк; высший законосовещательный орган империи рекомендовал банку ссужать деньги не общинам, а отдельным наиболее состоятельным крестьянам, которые хотели завести хозяйство вне надельных (полученных в 1861 году) земель. Этим, подчеркивалось в решении Государственного совета, «банк оказал бы несомненную услугу государству образованием класса мелких собственников, который повсеместно служит источником экономического процветания страны и верною опорою гражданского порядка». Эта фраза как заклинание переходила потом из одного проекта реформы крестьянского землепользования в другой, попав наконец и в обоснование столыпинской реформы. И снова сторонники общины взяли верх, и Крестьянскому банку в 1893 году велено было вернуться к кредитованию покупок земли целыми общинами, пускавшими их в тот же общий передел.

Почему же в «верхах» так крепко держались за общину? Здесь можно выделить две основные причины. Одна из них предельно проста. Как писал потом С. Ю. Витте, «стадное управление» крестьянами через общину было для бюрократии самым удобным. Власти не надо было доходить до каждого отдельного крестьянина, те или иные повинности возлагались на общину, и уже ее дело, кого она выделит в сотские, выполнявшие мелкие полицейские обязанности, кого пошлет чинить проселочные дороги или что там еще потребует начальство. Особенно важно было то, что с общины, а не с отдельного двора, взымались выкупные платежи. Все члены общины были повязаны круговой порукой. Если кто-то не мог заплатить свою долю, она перекладывалась на других. Чтобы число плательщиков не сокращалось, закон до крайности затруднял выход из общины — сначала полностью выкупи свой надел. А откуда мог рядовой крестьянин сразу взять столько денег? Если бы не община, министерству финансов понадобилась бы целая армия чиновников для взимания платежей. И сегодняшние фискальные интересы оказывались важнее перспектив завтрашнего развития деревни.

Но была и другая причина. За тринадцать лет до отмены крепостного права по Европе прокатилась революция 1848 года, в которой рабочие выступили уже со своими самостоятельными требованиями. Через десять лет после «великой реформы» во Франции возникла Парижская коммуна. Власть и помещики России, для которых был неприемлем и буржуазный-то строй, не могли не почувствовать, что в недрах его возникает еще одна опасность — тот самый «коммунизм», о котором писал Барятинский. Отсюда вытекала идея задержать с помощью общины дифференциацию крестьянства, уход части его из деревни и тем предупредить «язву пролетариатства». У части сторонников такого варианта был и корыстный расчет: бедный общинник, привязанный к наделу, с которого он не мог прокормиться, пойдет задешево в работники к соседнему помещику.

Получалась парадоксальная картина. В поисках «особого русского пути развития», отрицающего капиталистический строй, к общине как основе такого пути обращались и революционеры, и охранители. Только первые надеялись с помощью общины перескочить через капитализм прямо к социализму, а вторые — засидеться в сословно-самодержавной монархии. Ни то ни другое, разумеется, не удалось. Подчиняясь «мировому непреложному закону», как разъяснял азы политэкономии Витте своим коллегам-министрам, Россия втягивалась в капиталистические отношения. Но сохранение самодержавия, засилье помещиков и ставка на общину

делали капиталистическое развитие медленным и особенно мучительным для крестьян.

Бурный рост промышленности, а значит — и городского населения, в Западной Европе вызвал усиленный спрос на русский хлеб. Вывоз хлеба из России со времени отмены крепостного права и до начала XX века вырос более чем вчетверо. Чтобы удовлетворить этот спрос и потребности собственного растущего населения, Россия увеличивала площади под зерновые. Сначала распахали, сведя остатки лесов, черноземный центр. «Не пахали,— говорилось в одном из официальных документов Министерства государственных имуществ,— только на таких местах, где лошадь и человек удержаться не могут». Этим походя подорвали животноводство. В пересчете на душу населения в 1913 году в Европейской России всех видов домашнего скота было меньше, чем в 1864. Поголовье овец и коз сократилось и абсолютно, поскольку для них не оставалось подножного корма. Затем началось массовое освоение засушливых районов востока и юго-востока Европейской России. Уже в XX веке главный прирост площадей под хлебом приходится на Сибирь. Но Россия была не единственным продавцом зерна. Стремительно увеличивали его производство США, Канада, Австралия, Аргентина. В середине семидесятых годов оказалось, что столько хлеба Европе не нужно. Цены полетели вниз, начался мировой аграрный кризис, длившийся около двадцати лет. Особенно больно ударил он по России. Из-за бездорожья и отсутствия собственного флота доставка зерна из России обходилась дороже, чем из-за океана. Низкий уровень агротехники и отсутствие элеваторов вели к засоренности зерна. Россия могла конкурировать с Америкой, только еще больше сбивая цены. Но отказаться от вывоза хлеба она не могла, потому что больше нечем было обеспечивать равновесие торгового баланса. Даже в голодном 1891 году министр финансов И. А. Вышнеградский говорил: «Недоедим, но вывезем».

Положение усугублялось тем, что в восьмидесятые — девяностые годы Россия столкнулась с необходимостью ускорить развитие промышленности. Собственная тяжелая промышленность требовалась не только во имя великодержавных имперских амбиций царизма. Дальнейшее отставание от европейских стран могло поставить Россию, как настойчиво подчеркивал Витте, в «унизительное положение экономической данницы» более развитых государств. Но, как я отмечал выше, накопление капитала внутри страны шло медленно, а тот, что был, устремлялся в привычные и приносившие гарантированную прибыль отрасли, прежде всего в текстильную. Для того чтобы создать горнодобывающую и металлообрабатывающую индустрию, нужен был иностранный капитал. А чтобы привлечь его в страну, надо было превратить хромающий бумажный рубль в устойчивый золотой, а для этого сначала накопить золотой запас. Следовательно, требовалось продавать за границу больше, чем покупать. Продавать то, что было,— хлеб. По любой цене. Чтобы иностранным капиталистам было выгоднее строить заводы в России, а не ввозить готовые товары из-за рубежа, пришлось повысить ввозные пошлины на них, ввести протекционистский тариф. Это еще больше увеличивало ножницы между ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Противники Витте из помещичьего лагеря обвиняли его в том, что своей политикой поощрения промышленности он разорил сельское хозяйство. Это, в общем, несправедливо. Главная причина отставания сельского хозяйства заключалась в сохранении крепостнических пережитков в деревне. Выкуп за землю вынул из кармана крестьян больше денег, чем создание промышленности. Сделал свое дело аграрный кризис. А вот ко всему этому добавилась уже и политика Витте. Развитие промышленности во всех странах шло за счет средств, накопленных первоначально в сельском хозяйстве. Там, где этот процесс шел естественным и неспешным темпом, он не был болезненным. Необходимость быстрого скачка оказалась чувствительной. Россия была догоняющей страной и расплачивалась за это.

Незавершенность реформы 1861 года, мировой аграрный кризис и виттевская индустриализация, вместе взятые, действительно привели сельское хозяйство на рубеже XIX—XX веков к глубокому кризису. Заложив земли в пору высоких хлебных цен и растранжирив деньги, помещики были не в состоянии платить хотя бы проценты по займам и требовали от царизма отсрочки или списания долгов. У них, однако, оставался выход — продать имение. Дворянское землевладение в конце XIX века стало заметно сокращаться. Крестьянин не имел права продать свой надел. Да и куда бы он подался? Промышленность была еще не в состоянии поглотить большой приток рабочих рук. Чтобы заплатить подати и выкупные платежи, крестьяне продавали все больше хлеба, оставляя себе меньше, чем нужно для нормального питания и на корм скоту. Платежи взимались в момент уборки урожая, придержать хлеб до более выгодного момента могли немногие. Основная масса продавала урожай сразу за столько, сколько за него давали. И по наблюдениям современников, и по последним исследованиям историков, деньги, вырученные крестьянами от продажи хлеба и продуктов животноводства, не покрывали их расходов на уплату податей и покупку необходимого минимума фабричных товаров. К тому же сельское население быстро росло, а надельных земель больше не становилось. Без приработка от кустарных промыслов или работы на стороне крестьянское хозяйство существовать не могло. И десятью годами позже, когда положение чуть-чуть изменилось, министр земледелия А. В. Кривошеин, ратуя за поддержку кустарного производства, подчеркивал, что «на одном земледелии в деревне не уедешь». Но фабричная промышленность подрывала позиции кустарей. К концу XIX века и Витте, и его противники заговорили о «перенапряжении платежных сил сельского населения».

Эти слова отражали искреннюю и глубокую тревогу представителей власти. На платежеспособности крестьян держались и развитие промышленности, и государственный бюджет. От их хотя бы минимального благополучия зависела прочность режима. Противники Витте усилили нападки на политику индустриализации, добиваясь всемерной поддержки «хлебопашества», даже если это «потребует жертв со стороны государства». Витте прекрасно понимал значение сельского хозяйства, но немедленно переводил разговор в практическую плоскость. Помочь сельскому хозяйству — как? Прежде всего, устранив то зло, которое подтачивает благосостояние России,— «неустройство экономического и юридического быта нашего крестьянства», его сословные ограничения и обязательное общинное землепользование. Открыть крестьянам кредит для покупки усовершенствованного инвентаря — как? Займ требует обеспечения, залога. Что может заложить крестьянин, если в общине он «не может даже знать, какая земля его». Кредитовать можно только собственника, «вбухивать» деньги в общину бесполезно. С 1898 года Витте начинает убеждать Николая II заняться решением проблемы «крестьянского неустройства». «Там, где овцам плохо,— предупреждает он,— плохо и овцеводам». О необходимости устранения «экономического и бытового неустройства крестьян» как обязательного условия «поднятия благосостояния народа» докладывал Николаю и министр земледелия тех лет А. С. Ермолов, очень во многом расходившийся с Витте. Государственный совет считал, что вообще «нет надобности доказывать» решающее влияние на неудовлетворительность положения крестьян «отсутствия надлежащей определенности в сфере их имущественных и общественных отношений».

Сорок лет после «великой реформы» были потеряны для естественного и мирного выхода из общины. Ее насильственная консервация не оградила страну от «язвы пролетариатства». Рабочий класс России постепенно рос и «вставал на ноги». Существование «крестьян, близких к разорению», признавал министр внутренних дел В. К. Плеве, предлагая именно на их спасение от окончательного краха, а не на интенсификацию крестьянского хозяйства, направить средства, которые удастся выделить на сельский кредит. А вот формирование массового слоя крестьян-собственников, заинтересованных в законности и порядке, было задержано. Но в Манифесте 26 февраля 1903 года, определявшем программу царизма, какой ее видели Николай и Плеве, снова, хотя и с некоторыми оговорками, провозглашалась «неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения». Царизм, похоже, считал, что у него на «раскачку» есть и еще сорок лет.



Продолжение на стр. 14

Манифест об усовершенствовании государственного порядка

(Царский манифест 17 октября)

...Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка... Мы... признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:

1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, и

3) установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Программа

Конституционно-демократической партии, выработанная Учредительным съездом партии 12—18 октября 1905 года

I. Основные права граждан

1) Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть отменены.

2) Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Никакие преследования за исповедуемые верования и убеждения... не допускаются.

3) Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно обнародовать их или распространять путем печати или иным способом. Цензура как общая, так и специальная, упраздняется и не может быть восстановлена.

4) Всем российским гражданам предоставляется право устраивать публичные собрания... для обсуждения всякого рода вопросов.

5) Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, не испрашивая на то разрешения...

7) Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенными...

11) Основной закон Российской Империи должен гарантировать всем населяющим Империю народностям, помимо полной гражданской и политической равноправности всех граждан, право свободного культурного самоопределения.

12) Русский язык должен быть языком центральных учреждений, армии и флота...

II. Государственный строй

13) Конституционное устройство российского государства определяется основным законом.

14) Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачею голосов, без различия вероисповедания, национальности и пола.

(По вопросу о немедленном распространении избирательного права на женщин, меньшинства осталось при особом мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необязательным для меньшинства.)

15) Народное представительство участвует в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей администрации...

18) Членам собрания народных представителей принадлежит право законодательной инициативы.

19) Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого предоставлено право запроса и интерпретации.

Из воззвания «Союза 17 октября»

...Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших политических форм и грозящая уже не только процветанию, но уже и самому существованию нашего отечества, призывает всех к единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной власти, которая найдет опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии вывести страну путем мирного обновления из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность.

С этой целью... образуется Союз... Союз этот получает название «Союз 17 октября» и провозглашает следующие основные положения.

1) Сохранение единства и нераздельности Российского Государства.

Положение это обязывает признать, что жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания является ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее государственным строем исторически сложившегося унитарного характера. Вместе с тем положение это обязывает противодействовать всяким предположениям, направленным прямо или косвенно к расчленению Империи и замене единого государства государством союзным или союзом государств.

При широком развитии местного самоуправления на всем пространстве Империи, при прочно установленных основных элементах гражданской свободы... такое положение нисколько не препятствует местным особенностям и интересам различных национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных на безусловном признании равенства в правах всех русских граждан.

2) Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным представительством, основанным на общем избирательном праве.

Это положение обязывает к признанию начала всеобщего избирательного права, открывающего возможность всем русским людям участвовать в осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к коренному преобразованию нашего государственного строя на началах конституционных и к прочному закреплению за народным представительством дарованных ему Манифестом прав деятельного участия, рядом с Монархом, в законодательных трудах и правлении страной.

Это же положение признает и закрепляет за монархическим началом в изменившихся условиях политической жизни России новый государственно-правовой характер.

Прежний Самодержец... становится конституционным Монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую задачу — быть верховным вождем свободного народа. Являясь в народном сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа неразрывною связью преемственно сменяющихся поколений, священным стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, монархическое начало получает отныне новую историческую миссию чрезвычайной важности. Возвышаясь над бесчисленными частными и местными интересами,.. монархия призвана явиться умиротворяющим началом в той резкой борьбе, борьбе политической, национальной и социальной, для которой открывается ныне широкий простор провозглашением политической и гражданской свободы.

Укрепление в политической жизни этих начал, противодействие всякому посягательству, откуда бы оно ни шло, на права Монарха и на права народного представительства, как эти права определяются на почве Манифеста 17 октября, должно входить в задачи Союза.

3) Обеспечение гражданских прав.

В политически свободном государстве должна господствовать и гражданская свобода, создающая основу для всестороннего развития как духовных сил народа, так и естественной производительности страны. Манифест 17 октября ставит на первое место дарование незыблемых основ гражданской свободы. Развитие и укрепление этих основ в законодательстве и правах составляет одну из главнейших задач Союза.

Из программы партии социалистов-революционеров

...Дело революционного социализма есть дело освобождения всего человечества. Оно ведет к устранению всех форм междоусобной борьбы между людьми, всех форм насилия и эксплуатации человека человеком, к свободе, равенству и братству всех без различия пола, расы, религии и национальности...

Партия социалистов-революционеров в России рассматривает свое дело как органическую составную часть всемирной борьбы труда против эксплуатации человеческой личности, против стеснительных для ее развития общественных форм.

...Необходимой задачей социалистической партии, к которой переходит руководящая роль в этой борьбе, является расширение и углубление в революционный момент имущественных перемен, с которыми должно быть связано низвержение самодержавия.

Осуществление полностью ее программы, то есть экспроприация капиталистической собственности и реорганизация производства и всего общественного строя на социалистических началах, предполагает полную победу рабочего класса, организованного социально-революционную партию, и в случае надобности установление его временной революционной диктатуры.

Поскольку процесс преобразования России будет идти под руководством несоциалистических сил, партия социалистов - революционеров будет, исходя из развитых выше соображений, поддерживать, отстаивать или вырывать своей революционной борьбой следующие реформы:

в политической и правовой области —

установление демократической республики с широкой автономией областей и общин как городских, так и сельских; возможно более широкое применение федерального начала к отношениям между отдельными национальностями; признание за ними безусловного права на самоопределение; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не моложе двадцати лет без различия пола, религии и национальности... Полная свобода слова, совести, собраний, печати, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее гражданское равноправие, неприкосновенность личности и жилища... Равноправие языков... Уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением.

В народнохозяйственной области

1. В вопросах рабочего законодательства партия СР ставит своей целью охрану духовных и физических сил рабочего класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной борьбе, общим интересам которой должны быть подчинены все узкопрактические, непосредственные, местные и профессиональные интересы отдельных рабочих слоев...

2. В вопросах аграрной политики и поземельных отношений ПСР ставит себе целью использовать в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так и общетрудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и в особенности взгляд на землю как на общее достояние всех трудящихся. В этих видах партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, то есть за изъя-



Группа заключенных в тифлисском Метехском замке, 1907 год.

тие их из частной собственности отдельных лиц и переход в общественное владение...

Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского Собора (Учредительного собрания), свободно избранного всем народом без различия пола, сословий, национальности и религий, для ликвидации самодержавного режима и переустройства всех современных порядков. Свою программу этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном собрании, так и стремиться непосредственно проводить в революционный период.

Программа партии мирного обновления

...Признавая огромное значение чисто научных положений при установлении новых принципов государственного строя, мы в то же время полагаем, что устроение жизни не может быть строго проведено на началах, выработанных теоретически, особенно заманчивых своей стройностью и последовательностью...

Мы полагаем, что коренное и немедленное переустройство государства должно касаться всех отраслей его социального и политического строя, причем это переустройство должно быть проведено последовательно, без резкого нарушения веками сложившегося уклада жизни...

Сопоставляя теоретические положения учения об избирательном праве с данными жизни и не отрицая принципиально справедливости всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, мы не можем, однако, не констатировать, что немедленное проведение этого требования в полном его объеме может дать результаты, не отвечающие цели истинного народного представительства... Разбросанность крестьянского населения, значительные расстояния между отдельными пунктами избирательного округа будут причиной уклонения значительной части избирателей от выборов, и преобладающее влияние получат густонаселенные пункты, города, посады, местечки и т. п. ...Признавая поэтому необходимым немедленное же введение всеобщего, тайного и равного голосования, мы полагаем возможность предоставить прямое — лишь городам, имеющим отдельное представительство, в других же местностях ввести двухступенные выборы.

Распространение избирательных прав на женщин, теоретически справедливое, является не столько вызванным вполне определившимся народным мировоззрением, сколько искусственно навязанным положением без серьезных практических оснований.

Государственное устройство

1) Государственное устройство Российской империи как наследственной конституционной монархии определяется основным законом.

2) Все вновь издаваемые законы, как основной, так и другие, требуют согласия народного представительства и утверждения Императора.

3) Не иначе, как в том же порядке может последовать изменение, дополнение или отмена действующего закона.

4) Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому подобный акт, не основанный на решении народного представительства, как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь силы закона.

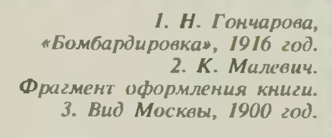
5) Народное представительство состоит из двух палат...

7) Народным представителям принадлежит право законодательной инициативы и право запроса.

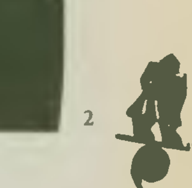
Программа монархической партии

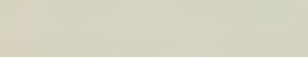
...Теперь монархической партии предстоит более широкая задача, нежели та предвыборная кампания, ради которой монархическая партия первоначально была образована.

Ввиду этого монархическая партия наметила себе на этом новом поприще охранения и восстановления самодержавной власти русских царей целый ряд безусловно законных средств, которыми монархическая партия, соблюдая строгую дисциплину, будет пользоваться для достижения своей главной цели, памятуя свой верноподданнический долг перед царем и свои обязанности перед русским народом, свято чтущим своего Благочестивейшего, Самодержавнейшего Батюшку-Царя.









1. Н. Гончарова, «Бомбардировка», 1916 год.
2. К. Малевич. Фрагмент оформления книги.
3. Вид Москвы, 1900 год.

3 1 2



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ



П. Милюков

Царский манифест 17 октября

...К концу затянувшегося съезда (учредительного съезда кадетской партии.— *Ред.*) в зал вбежал запыхавшийся сотрудник дружественной газеты. Он потрясал смятым корректурным листком, на котором был напечатан текст Манифеста 17 октября.

Этой беспримерной сенсации не ожидал никто из нас,— никто к ней не готовился. Само бюро впервые ознакомилось с содержанием манифеста при его прочтении на съезде. При нашем общем настроении этот текст производил смутное и неудовлетворительное впечатление. В нем, с одной стороны, слышались слишком привычные выражения о «смутах и волнениях... преисполнивших сердце царево тяжкой скорбью» и вызывающих, во имя «великого обета царского служения», «принятие мер к скорейшему прекращению опасной смуты». С другой стороны, этими «мерами» оказывались обещания, «для успешнейшего умиротворения», «даровать незыблемые основы действительной неприкосновенности личности» и «гражданской свободы». А главное — мы услышали заветные слова: «никакой закон без одобрения Думы», «действительное участие в надзоре» за властями и даже — привлечение к выборам в Думу классов населения, «совсем лишенных избирательных прав», и, наконец,— правда, в перспективе — «дальнейшее развитие общего избирательного права вновь установленным (то есть через Думу?) законодательным порядком»! Что это такое? Новая хитрость и оттяжка или, в самом деле, серьезные намерения? Верить или не верить?..

Во всяком случае, теперь в особенности медлить было нельзя. Оставалось — уже перед самым закрытием съезда — объявить новую партию существующей и от ее имени выразить приветствие главным, уже бесспорным, героям дня — участникам всеобщей забастовки! В ней, согласно нашим взглядам, мы усматривали «мирный» и «организованный» метод борьбы.

Прямо с закрытого съезда его члены отправились на заранее заготовленный банкет — в «Литературный Кружок» на Большую Дмитровку. Устраивался этот банкет для прощального чествования участников съезда, а теперь главной темой стал обмен мнений по поводу неизданного еще документа. Сговориться и вывести за скобки общее мнение о нем было уже некогда.

Странное было учреждение, чисто московское, этот «Литературный Кружок», устроенный сестрой М. К. Морозовой. На эстраде главной залы царил Брюсов и поколение новой молодежи декадентского типа, о котором мы говорили с Маргаритой Кирилловной. Здесь читались литературные доклады на самоновейшие темы. А сама зрительная зала представляла игорный клуб, доходы от которого и служили для поддержания учреждения. Через этот нижний игорный зал и приходилось пройти в верхнюю столовую, где был накрыт длинный стол для членов съезда и для почетных московских гостей. Внизу публика была смешанная. О главном событии вечера она уже слышала и тоже готовилась чествовать его по-своему. Обычные посетители залы при нашем приходе покинули игорные столы и столпились около нас; кроме них, зал был вообще переполнен публикой, сбежавшейся на огонек. Настроение в этой толпе было восторженное: нас и манифест они готовились чествовать вместе. А героем этого чествования оказался я. Меня подняли на руки, водворили на стол, всунули в руки бокал шампанского, а некоторые, особенно разгоряченные, полезли на стол целоваться со мной по-московски и, не очень твердые в движениях, облили меня основательно шипучим напитком. Когда все немножко успокоилось и около стола плотно сгрудилась толпа, от меня потребовали речи на волновавшую всех тему. Речь, очевидно, должна была выразить общее праздничное настроение.

Я попал в трудное положение. Мое собственное настроение, после более внимательного ознакомления с текстом манифеста, вовсе не было праздничным. И, не справляясь с настроением окружавшей меня публики, успевшей повеселеть, я вылил на их головы ушат холодной воды. Я, разумеется, не помню текста своей взволнованной импровизации; но содержание ее мне очень памятно. Да, говорил я им, победа одержана — и победа немалая. Но ведь эта победа не первая: она — лишь новое звено в цепи наших побед, и сколько их позади! И будет ли она последней и окончательной? Даже чтобы удержаться на том, что достигнуто, нельзя покидать боевого поста. Надо каждый день продолжать борьбу за свободу, чтобы оказаться достойными ее. Одних «героев» тут мало. Тут нужна поддержка обывателя. И я призывал обывателя настроиться на поддержку «геройских» поступков. Едва ли такая речь могла очень понравиться. Проводили меня очень шумно; но мне показалось, что эти проводы были не столь горячие, как момент моего водворения на стол. По крайней мере, слезть с него и перебраться в верхнюю залу оказалось легче, чем попасть на эту импровизированную трибуну.

В верхнем зале оживление было тоже очень значительным, но настроение было серьезнее. Мне и тут пришлось говорить первым. Но среди своих и близких тема моей речи была более интимной. Я занялся подробным анализом того, что произошло, чтобы, хотя приблизительно, наметить контуры нашего к нему отношения. Скептическая нота здесь преобладала. Не думаю, чтобы к этому моменту уже был у меня в руках и текст доклада Витте, сопровождавшего манифест. В нем все-таки содержались кое-какие оговорки, которые свидетельствовали о лучшем понимании общественного настроения, которое сделало уступки необходимыми. Уклончивость выражений самого манифеста, в свете прежних высочайших выступлений такого же рода, представлялась совершенно очевидной. Правда, Победоносцева за нею уже больше не чувствовалось. Но это была материя из той же фабрики. Я и занялся разбором того, что было обещано и что было не договорено в манифесте.

Почему манифест говорит о «скорби» и «обете» «к скорейшему прекращению смуты» мерами власти, когда собираются прекратить эту «смуту» мирным порядком? Почему даются в настоящем одни обещания, а исполнение их предоставляется в будущем «объединенному» кабинету? Что это будет за кабинет и в чем будет состоять «объединение»? Почему понадобилось подкрепить обещания «незыблемых основ» словом «действительное»? Почему, в особенности, «не останавливаются» выборы в Думу по старому закону, а новые элементы населения привлекаются к выборам лишь «по возможности», в порядке спешности, искусственно создаваемой? Почему «развитие начала общего избирательного права» отлагается до введения «вновь установленного законодательного порядка»? Зачем эти три слова: «развитие», «начало» и «общее» вместо прямого провозглашения «всеобщего» избирательного права? Прекрасно, что Дума наконец привлекается к изданию законов; но почему говорится лишь о ее «одобрении»? Почему в новом законодательном порядке скромно умолчено о другом факторе законодательства, Государственном Совете? Каковы гарантии «действительного участия выборных от народа» в надзоре над «властями» и почему это слово «надзор» предпочтено «контролю», да еще ограничено «закономерностью» действий власти, не говоря об их «целесообразности». Почему подчеркнуто, что власти «поставлены от нас», то есть как бы несменяемы? Почему депутаты по-старинному названы «выборными»?

Все эти возражения напрашивались сами собой при внимательном чтении текста, бывшего у меня в руках. Все они подчеркивали явную двусмысленность обещаний, данных манифестом, и опять создавали, вместо достигнутого этапа, какое-то переходное положение. Партии предстояло к нему приспособиться; но для этого нужны были новые данные, которых налицо не было. Кроме того, и самая спешность объявления партии существующей, и неполнота состава съезда, с преобладанием, так сказать, московских настроений над петербургскими,— все это делало необходимым назначение нового съезда, дополнительного к данному, «учредительному». Однако своевременность появления первой политической партии как раз в тот момент, когда существование политических партий становилось необходимым для открытой и легальной борьбы в представительном органе, облеченном правами законодательства,— эта своевременность представлялась бесспорной. Этим, в сущности, предрешался и коренной вопрос, остававшийся «открытым» и спорным, — об участии партии в выборах. Но все же «закрыть» вопрос нельзя было без постановления нового съезда...

Мне не пришлось долго ждать наглядного подтверждения моего пессимизма. После нескольких дней напряженной и нервной работы, после прений и неожиданной развязки я чувствовал себя утомленным и не выходил из дома все следующее утро и часть дня. Друзья приходили и рассказывали об уличных проявлениях радости по поводу манифеста. Милейший В. В. Водовозов, взобравшись на бочку, говорил оттуда одушевленную речь к «народу». Но тот же «народ» на следующий день, когда я вышел прогуляться, проявил себя иным образом. Утром на Малой Никитской я встретил толпу, которая от Охотного ряда поднималась к Никитским воротам. Это была толпа в картузах и в «чуйках», которую мы в те времена так и называли «охотнорядцами», разумея под этим очень серого обывателя черносотенного типа. В руках у знаменосцев, шедших впереди толпы, был большой портрет государя и еще какие-то изображения — или иконы,— которые я не успел рассмотреть. Толпа что-то выкрикивала и пела — но, кажется, не гимн — и попутно сбивала шапки с прохожих, не успевших обнажить голову. Признаться, я испугался за судьбу своего интеллигентского котелка и свернул в ближайший переулок. Толпа, оказавшаяся довольно жидкой, проследовала мимо. Это было одно из первых, сравнительно невинных проявлений знаменитого треповского «рукоприкладства» к высочайшему манифесту. ●

В. Дякин,
доктор исторических наук

Последний шанс

Второй раз гром грянул в январе 1905 года. Теперь уже только слепой мог не видеть приближавшейся грозы. Массовые стачки рабочих и крестьянские волнения говорили о явном неблагополучии в народной жизни. Понимая, в какую пропасть тянет страну Николай, либералы пользовались любым предлогом, чтобы напомнить о необходимости увенчать здание земского самоуправления каким-нибудь центральным органом и подкрепить его снизу всесословным волостным земством, предоставив гражданские права крестьянам. Для пропаганды своих взглядов они начали издавать за границей журнал «Освобождение». Но власти свойственно искать не причину недовольства, а зачинщиков. Деятельность организаций, вокруг которых собирались либералы,— Вольного экономического общества, Юридического общества при Московском университете, Петербургского и Московского комитетов грамотности, Союза взаимопомощи русских писателей и других — была запрещена. Либеральная тверская земская управа разогнана. Даже сменивший убитого эсерами Плеве новый министр внутренних дел князь П. Д. Святополк-Мирский,— видит бог, не очень большой либерал,— считал, что Николаю нужно хоть для приличия «позлатить» «железный скипетр самодержавия» и допустить несколько выборных членов в Государственный совет. Николай, однако, заявил, что хочет издать на имя министра такой рескрипт, «чтобы поняли, что никаких перемен не будет».

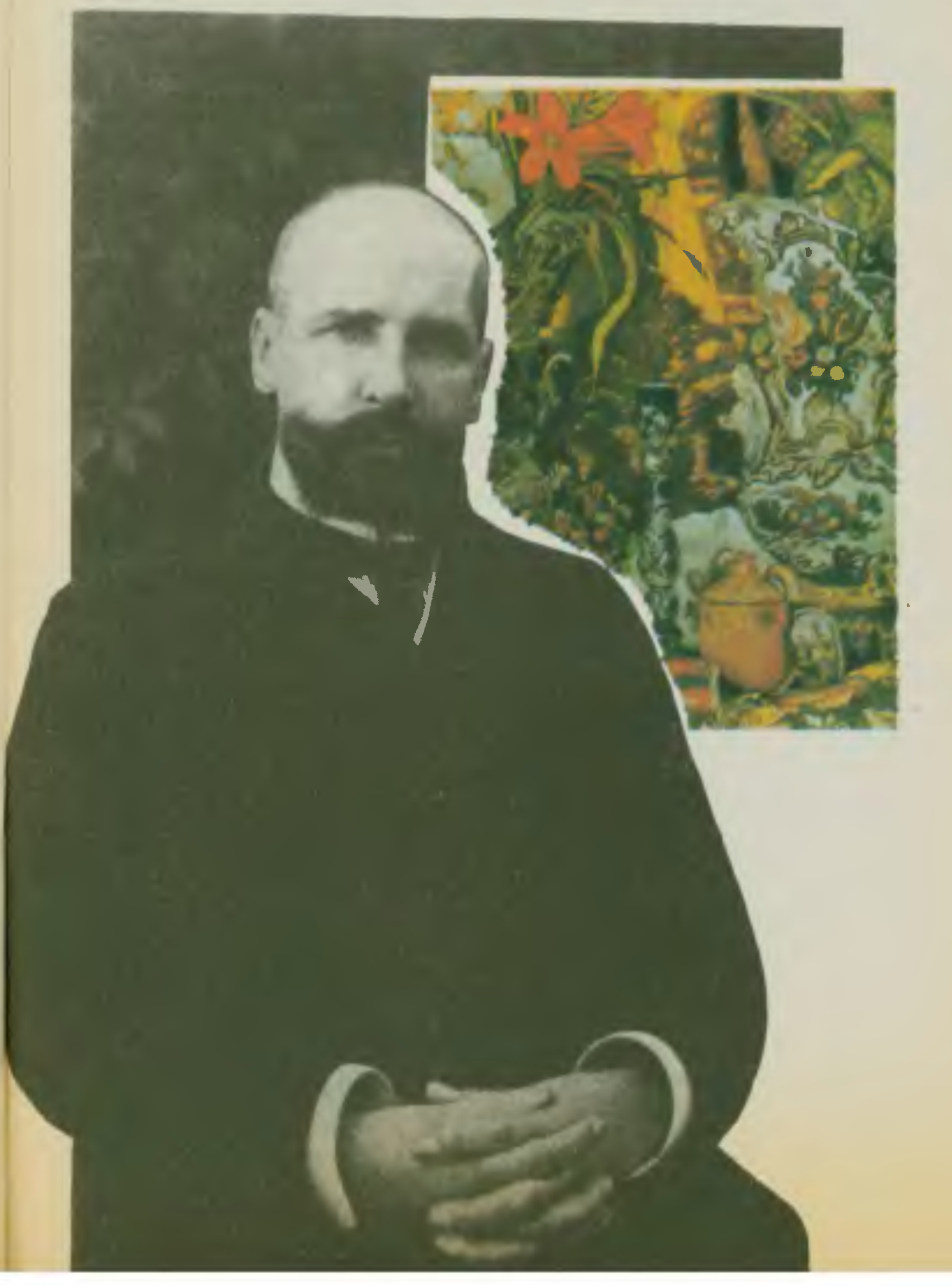
Если бы не русско-японская война, царский окрик, может быть, на некоторое время сдержал бы либералов. Но поражения в Манчжурии снова продемонстрировали слабость власти. Либералы сочли, что за проигранную войну царизм вынужден будет, как и в 1861 году, заплатить реформами. Чтобы добиться этих реформ и в первую очередь конституции, они не только усилили пропаганду в земских и интеллигентских кругах, но и решились на попытку скоординировать действия с революционерами. В сентябре 1904 года в Париже состоялась конференция оппозиционных и революционных лидеров. Эсеров на этой конференции представлял провокатор Е. Азеф.

Царизму и провокаторы «выходили боком». Стремясь отвлечь рабочих от участия в социал-демократических кружках и поставить рабочее движение под контроль правительства, полицейские власти осенью 1903 года разрешили создать «Собрание русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга» во главе с платным агентом полиции Георгием Гапоном. Но и внутри этого собрания голоса недовольных рабочих звучали все резче, а авантюриста Гапона занесло — задуманное им мирное шествие к Зимнему дворцу 9 января было расстреляно войсками. Революция началась.

На первом ее этапе могло показаться, что либералы и революционеры, действуя каждые своими методами, стремятся к одной цели. А. И. Солженицын и сегодня упрекает либералов за союз с революционерами, за то, что они не поддержали власть в трудную для нее минуту. Я должен буду сказать несколько слов об этом, но попозже*. Пока же скажу, что союза не было. В другое время и по другому поводу была произнесена фраза о попутчиках до Бологого в поезде Москва — Петербург. Вот в положении таких попутчиков оказались революционеры и либералы в 1905 году, и в интересах власти было сделать так, чтобы либералы сошли с поезда поскорей. Для этого надо было уступить их желанию и дать, наконец, конституцию. «Прежде всего,— писал Николаю Витте,— постарайтесь водворить в лагере противника смуту. Бросьте кость, которая все пасти, на вас устремленные, направит на себя. Тогда обнаружится течение, которое сможет вас вынести на твердый берег».

Витте вовсе не был сторонником конституции и парламентаризма. Еще совсем недавно он доказывал, что даже бесправное местное земство несовместимо с самодержавием. Больше всего его устроил бы строй, где царь считался бы самодержцем, а реальная власть принадлежала бы ему, Витте. Но умный и беспринципный Сергей Юльевич лучше других царских сановников умел оценивать си-

Петр Аркадьевич Столыпин (1862—1911), крупный государственный деятель России, министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906 года). В 1907—1911 годы определял правительственный курс. Руководитель аграрной реформы, названной его именем. Убит агентом охранки.



* На эту тему — статья В. Дякина «Был ли шанс у Столыпина?», «Звезда», 1990 год, № 12.

туацию и маневрировать в волнах политического океана. Вот почему в октябре 1905 года Витте «поставил» на конституцию, а прижатый к стенке Николай назначил ненавистного ему Витте председателем первого в истории России объединенного Совета министров. Манифестом 17 октября было обещано созвать законодательную Государственную думу.

Думу заранее обложили со всех сторон. Военные дела и внешняя политика были оставлены вне ее компетенции. Принятые ею законы еще должны были пройти через Государственный совет, половину членов которого по-прежнему назначал лично царь, а способ избрания другой половины гарантировал большинство консерваторам. Закон, одобренный обеими палатами, все равно мог быть отвергнут царем. Если Дума не утверждала бюджет, правительство могло получить деньги в размере прошлогодней сметы. Самое главное — правительство назначалось царем и было ответственно только перед ним. Дума не имела права требовать отставки правительства или изменения его состава.

Конечно, по сравнению с прежним ничем не ограниченным самодержавием это был шаг вперед. Не случайно Николай до конца своих дней мечтал повернуть историю вспять, к «спокойному течению законодательной деятельности и при том в русском духе» — с совещательной Думой, а еще лучше и вообще без нее. Но даже когда летом 1906 года в правящих кругах разрабатывался проект совещательной Думы, авторы его предупреждали: «с большинством Думы, как бы ни определились по букве закона права учреждения, на деле все же придется считаться». Тем важнее для правительства было создать послушное себе большинство в законодательной Думе.

И здесь взоры власти вновь обращались к крестьянству. Дворянское происхождение земско-либеральных лидеров вызвало при дворе и в высшей бюрократии сомнение в постоянно рекламируемой поместным дворянством верности самодержавию. В то же время, несмотря на растущие крестьянские волнения, в правящих кругах сохранялось убеждение, будто народ «привержен историческим началам и не ищет новизны»...

Избирательный закон 10 декабря 1905 года отдал крестьянам почти половину голосов в губернских избирательных собраниях, определявших депутатов Думы. Но монархические чувства крестьян требовалось подкрепить заботой об их благосостоянии. Путь постепенной интенсификации хозяйства оказывался в условиях революции слишком долгим. Нужно было срочно решать проблему крестьянского малоземелья.

Объективно говоря, у большей части крестьян было достаточно земли. Прусский, а тем более японский крестьянин, имея столько земли, сколько имел российский бедняк, считался бы богачом. Поэтому, абстрагируясь от российской действительности, правы были те защитники помещичьего землевладения, которые твердили, что никакого крестьянского малоземелья нет и незачем увеличивать площадь крестьянского землепользования, а надо улучшать способы ведения хозяйства. Но истина всегда конкретна. Во-первых, я уже это говорил, при общинном севообороте способы ведения хозяйства менять трудно, да и денег у крестьян на это не было. Во-вторых и главное — рядом с общинными землями лежали помещичьи поля, которые чаще всего и не обрабатывались помещиками, а втридорога сдавались в аренду крестьянам, к тому же помнившим, что эти поля у них же были обрезаны в 1861 году. В таких условиях убедить крестьян не думать о дополнительном наделении, а изменять хозяйство, было трудно.

До революции правительство двумя путями старалось увести крестьян от мысли о дополнительном наделении землей. Первый — переселение в Сибирь. Долгое время помещики противились ему, боясь потерять дешевых батраков. С прокладкой Сибирской железной дороги понадобилось обжить близлежащие земли, и переселение стало увеличиваться, хотя все еще было очень медленным. Второй путь — Крестьянский банк. Тебе нужна земля — купи у помещика, благо желающих продать имение хватает. Банк даст ссуду, за которую потом расплачиваться полвека, втрое перекрывая долг. С 1895 года банк сам стал покупать помещичьи владения и перепродавать крестьянам. Всего с помощью банка до 1905 года крестьяне купили 7,8 миллиона десятин (из них лишь 117 тысяч единолично).





Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904), министр внутренних дел, шеф отделения корпуса жандармов в 1902—1904 годах. Убит эсером Е. С. Созоновым.



М. Добужинский, «Октябрьская идиллия», 1905 год.

По сравнению с общей массой надельных земель это — капля в море.

Нетерпение крестьян росло. В 1902 году прошли массовые волнения в Полтавской и Харьковской губерниях. В 1905 году помещичьи усадьбы заполыхали по всей стране. Особенно сильными были выступления крестьян в Саратовской губернии, где их усмирял Столыпин. В сентябре Витте предупреждал: ...«студенческие сходки и рабочие стачки ничтожны сравнительно с надвигающеюся на нас крестьянскою пугачевщиною». Как можно было при этом сохранять веру, что на выборах крестьяне поддержат правительство? Вот одна из многих загадок психологии власть имущих.

Все же понимание необходимости что-то сделать для крестьян, и как можно быстрее, появилось. Третьего ноября специальным царским манифестом объявили о сокращении с 1906 года вдвое выкупных платежей и об отмене их с 1907 года совсем. Одновременно обещали «дать Крестьянскому поземельному банку возможность успешнее помогать малоземельным крестьянам в расширении покупкою площади их землевладения, увеличив для сего средства банка». Но добровольные сделки — дело небыстрое. В ноябре харьковский профессор П. П. Мигулин, давно уже отиравшийся в министерских передних, подал Николаю записку, в которой доказывал, что единственный выход из положения — дополнительное наделение крестьян, для чего в пределах Европейской России понадобится 10—20 миллионов десятин удельных и казенных земель в 20—25 миллионов десятин помещичьих, на которых все равно не ведется собственное хозяйство. Быстро выкупить такое количество земли можно было только принудительно. Не сказав по своей милой привычке ни да, ни нет, Николай передал записку Витте через дворцового коменданта Д. Ф. Трепова. Правая рука царя, его ближайший советник в эти месяцы, Трепов говорил при этом Витте: «...я сам помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собой вторую половину». Так думал не только Трепов.

Но решиться на принудительное отчуждение помещичьих земель царскому правительству было нелегко. Покушение на частную собственность вообще, дворянскую тем более (пусть даже и за выкуп), противоречило всем принципам и грозило серьезными политическими осложнениями. Можно было и не удовлетворить крестьян (на всех не хватит), и оттолкнуть от себя помещиков. Поэтому кабинет Витте попробовал договориться с ними «по-хорошему». Министр финансов И. П. Шипов и управляющий Крестьянским банком А. И. Путилов обратились к губернаторам, предводителям дворянства и земства с просьбой уговорить помещиков продать до весеннего сева достаточное количество земли Крестьянскому банку для перепродажи крестьянам, чтобы те поверили, «что можно и без захватов надеяться на осуществление обещаний правительства». «Если этого не удастся сделать,— доказывал Путилов,— то все равно удержать землю в своих руках будет почти невозможно. Жестокие насилия, начавшиеся нынешней осенью, не улягутся и едва ли не будут еще страшнее весною, когда дело дойдет до запашки и ярового сева. Таким образом, образование земельного фонда для крестьян является прямым спасением для частного землевладения».

Собственно, удирающие из горящих усадеб помещики в 1905—1906 годах готовы были продать Крестьянскому банку немало земли (в 1906 году ему было предложено 7,6 миллиона десятин), но даже под угрозой пожаров и погромов они заламывали непомерно высокую цену. За закрытыми дверьми одного из бюрократических совещаний Путилов сетовал на «помещичьи аппетиты», а в своих циркулярах пытался объяснить собакевичам XX века, что именно их стремление содрать с крестьян побольше послужило «...одной из существенных причин, вызвав-

ших столь грозно заявившее себя аграрное движение». Но поместное дворянство не внимало призывам к умеренности и получало поддержку в высоких сферах. Министр внутренних дел П. Н. Дурново опротестовал циркуляр Крестьянского банка о земельных ценах как «акт нарушения прав частной собственности» и «требование продажи земли во что бы то ни стало».

Вот в этой-то обстановке министр земледелия Н. Н. Кутлер с явного благословения Витте начал подготовку закона о принудительном отчуждении помещичьих земель. Как и в мигулинской записке, речь шла о землях, не эксплуатируемых самими помещиками, а сдаваемых в аренду крестьянам. Кутлер по-прежнему предпочитал добровольные сделки и предусматривал принудительный выкуп лишь в случаях, если бы помещики вообще не захотели продать Крестьянскому банку до зарезу необходимые ему угодья, либо выставили бы «слишком несоответственные требования» относительно цены. Мне кажется, что Витте и Кутлер надеялись: появление такого закона подтолкнет, наконец, помещиков к мирным соглашениям с банком, вовсе не собиравшимся обижать «излюбленное сословие». Они просчитались. Помещики в провинции публично называли Кутлера «мерзавцем, висельником, анархистом». К Николаю пошли записки, в которых Кутлера, Шипова и Путилова обвиняли в «революционных замыслах» и требовали заменить Витте «лицом более твердых государственных принципов». Николай, которому и навязанная ему конституция, и принудительное отчуждение, и Витте лично были поперек горла, 4 февраля 1906 года выгнал Кутлера из Министерства земледелия, не дав ему никакого поста (по традиции отставные министры назначались членами Государственного совета), а в апреле, за несколько дней до созыва I Думы, отправил в отставку Витте вместе со всем его кабинетом.



Члены Думы, революционеры (от Вятской губернии), прозванные «крамольниками».

Члены Думы, реакционеры (от Бессарабской губернии), прозванные «черносотенцами».

Царизм жестоко ошибся с избирательным законом. Крестьянские выборщики прислали в I Думу кадетов и трудовиков. Два коренных вопроса стали преградой между правительством и Думой. Дума хотела быть полноценным парламентом. Она хотела, чтобы правительство назначалось из ее среды и было ответственно перед нею. «Исполнительная власть да подчинится власти законодательной,— торжественно продекламировал с думской трибуны В. Д. Набоков, сын министра юстиции времен Александра III и отец будущего писателя. И Дума хотела принудительного отчуждения помещичьих земель. Трудовики — полного. Кадеты отстаивали, по сути, проект вступившего в их партию Кутлера. Либо правительству, либо Думе надо было уйти.

В течение мая — июня за кулисами велись переговоры о кадетском министерстве. Наиболее активный сторонник его при дворе все тот же Трепов откровенно формулировал причины своей готовности к такому повороту: «Когда дом горит, приходится прыгать с пятого этажа». По тем же причинам за думское министерство высказывался ряд других высших сановников и великий князь Николай Николаевич. Призрак принудительного отчуждения тоже бродил еще по министерским кабинетам. В июне министр земледелия А. С. Стишинский, один из столпов крайней реакции, все еще считал, что успокоить крестьян можно, только продав им в ближайшие годы не менее 14 миллионов десятин помещичьих земель в одних лишь черноземных губерниях. Он отвергал принудительное отчуждение, но с очень знаменательной оговоркой: сначала «необходимо прийти к бесповоротному убеждению в полной невозможности достигнуть тех же результатов без насильственной ломки существующих правоотношений». Нажми крестьяне посильнее, может, и пришли бы к «бесповоротному убеждению». Ведь и Манифест 17 октября Николай дал не по доброй воле. Только вот удовлетворились ли бы крестьяне половиной помещичьих земель?

Соглашаясь на переговоры Трепова с лидером кадетов П. Н. Милюковым, Николай, как всегда, хитрил и выигрывал время. Одновременно он поручил Столыпину, занимавшему в дни I Думы пост министра внутренних дел, прощупать другой вариант — создание правительства, в котором большинство составляли бы старые царские бюрократы, а несколько второстепенных постов заняли бы общественные деятели, пусть даже кадеты. Задачей такого правительства был бы роспуск Думы и проведение новых выборов. О принудительном отчуждении помещичьих земель и речи быть не могло. Сначала Милюков, а затем и либералы более правого толка категорически отвергли предложения Столыпина.

Уже перед первой мировой войной началась, а в эмиграции продолжилась полемика — правильно ли поступили либералы, отклонив союз со Столыпиным. В наши дни, с легкой руки А. И. Солженицына, эта полемика разгорелась с новой силой. Солженицын считает, что именно либералы виновны в октябрьском крахе, потому что в 1906 году не захотели разделить со Столыпиным власть, «чтобы не испачкать репутации».

Но разве Столыпин предлагал разделить власть? Он хотел использовать либералов как ширму, чтобы проводить свою программу, прикрываясь репутациями, которые либералы приобрели за долгие годы оппозиции самодержавию, приобрели ссылками, эмиграцией, отлучением от общественной деятельности. И все это отдать в минуту, когда чашечки весов колеблются и, может быть, завтра их все-таки позовут к власти и скажут: «спасите»? Что они смогут сделать тогда, уже потеряв репутацию в глазах общества? Ведь и лидер октябристов А. И. Гучков отказался войти в кабинет Столыпина, выставив условием выработку «обязательной программы деятельности, которая связала бы всех членов объединенного правительства». А какая уж тут общая программа, если каждый министр зависит только от царя и может быть выгнан в любой момент!

Я не могу утверждать, что союз старой власти и либералов на условиях последних мог предотвратить Февраль и Октябрь. Слишком долго откладывались самые необходимые реформы. Слишком сплелись в клубок не решенные за века предыдущей истории проблемы. И важнейшей из них была крестьянская. Не создав условий для образования «класса мелких земельных собственников», царизм не только лишился возможности сам опереться на них и навлек на себя 1905 год. Он также оставил без массовой опоры русский либерализм, заставив его в поисках союзников «косить глаза налево», как писал известный кадетский деятель и один из авторов «Вех» А. С. Изгоев. Кадеты считали, что парламентская монархия, гражданские свободы и отчуждение части помещичьих земель не только удовлетворят либеральное общество, но и успокоят крестьян. Так ли это — бог весть. Но это была та минимальная цена, которую должен был заплатить царизм, если хотел свернуть с пути, что вел к общественному краху.

Продолжение на стр. 24

«К середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе»

«Получив в мае 1913 года от министра земледелия Клементеля и министра общественных работ Жозефа Тьерри задание изучить на месте результаты аграрной реформы 1906 года и настоящее состояние железных дорог в России,— писал в предисловии к своей книге «Россия в 1914 году» известный в то время французский экономический обозреватель Эдмон Тэри,— я в ходе этой двойной миссии имел возможность достаточно внимательно исследовать причины быстрых экономических изменений...

Полагая, что всяк хозяин в своем доме, я тщательно уклонялся от всяких оценок политического характера касательно нынешнего русского или зарубежных правительств; но, конечно, я должен констатировать со всей беспристрастностью, что Россия понесла большую потерю в лице Столыпина, убитого в Киеве в сентябре 1911 года, и что она многим обязана его преемнику по председательству в Совете Министров гр. Коковцову...

Излишне говорить, что ни один из европейских народов не имел подобных результатов, и... повышение сельскохозяйственной продукции,— достигнутое без содействия дорогостоящей иностранной рабочей силы, как это имеет место в Аргентине, Бразилии, Соединенных Штатах и Канаде,— не только удовлетворяет растущие потребности населения, численность которого увеличивается каждый год на 2,27 процента, причем оно питается лучше, чем в прошлом, так как доходы его выше, но и позволило России значительно расширить экспорт...

Различные главы, посвященные русской промышленности, показывают, что если эта отрасль национальной экономики не дала таких исключительных результатов, как аграрное производство, то она определенно продемонстрировала очень значительный прогресс...

Российское государство сделало за десятилетний период огромные усилия, чтобы поднять уровень народного просвещения, оно увеличило также в огромных пропорциях свои военные расходы...

Рассматривая результаты, полученные с начала XX века, они (читатели.— Р е д.) придут к заключению, что если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении...»

Предлагаем выдержки из книги Э. Тэри.

Среднегодовое производство кукурузы возросло между периодами 1898—1902 и 1908—1912 гг. с 72 695 000 до 105 270 000 пудов, что представляет увеличение на 44,8 процента.

Среднегодовая продукция пшеницы в России возросла от 117 547 000 до 161 702 000 центнеров за период, прошедший между пятилетиями 1898—1902 и 1908—1912, что представляет увеличение на 37,5 процента. Средний экспорт возрос за этот же период на 16 845 000 центнеров, или 77,1 процента, что, благодаря росту цен на пшеницу на внешнем рынке, по сравнению с периодом 1898—1902 увеличило стоимость экспортированной продукции на 98,3 процента.

Среднее производство ячменя увеличилось между этими двумя периодами 1898—1902 и 1908—1912 гг. на 36 293 000 центнеров, или 63,2 процента, а экспорт — на 153,6 процента. Здесь прогресс, таким образом, был гораздо более значительным, чем в производстве и экспорте пшеницы.

В России выращивают и потребляют много картофеля, но почти ничего не экспортируется. Несмотря на прогресс в производстве этой культуры между двумя рассматриваемыми периодами (увеличение на 31,6 процента), картофеля едва хватает для удовлетворения все растущих внутренних потребностей.

Производство сахарной свеклы находится в состоянии большого прогресса, поскольку среднегодовое производство ее возросло на 42 процента между двумя рассматриваемыми периодами. В течение того же промежутка времени экспорт сахара увеличился на 95 процентов, а выраженный в валюте — на 54 миллиона франков, или 108 процентов.

Благодаря протяженности своей территории, разнообразию продукции, богатству недр и в особенности необыкновенному росту населения Россия призвана стать великой промышленной державой.

Почти не существовавшая в середине прошлого века, русская промышленность развилась благодаря строительству железных дорог, которые сделали легкодоступными богатые месторождения Кривого Рога, Донбасса, Польши, Урала и Кавказа и позволили ввести их в эксплуатацию.

Почти все достижения последней четверти века, будь то на юге или же в Московской или Петербургской губерниях, в Польше, на Урале или на Кавказе, принадлежат крупной промышленности.

За восьмилетний период число зарегистрированных предприятий возросло лишь на 4,9 процента, а число рабочих, занятых на них, на 16 процентов, но энергетическая мощность предприятий увеличилась на 351 900 лошадиных сил, или на 41,2 процента, а общий оборот вырос с 2048 млн. рублей до 3069 млн. рублей, что составило 49,8 процента прироста.

Северский Донец, берущий начало в Курской губернии и впадающий в Дон вблизи Ростова-на-Дону, имеет протяженность в 1100 километров. Он пересекает абсолютно бесплодную степь.

И посреди этого прежде пустынного края сейчас разрабатываются многочисленные угольные шахты и высятся мощные литейные заводы, обеспечиваемые сырьем на месте и обслуживаемые весьма совершенной железнодорожной сетью, связывающей их с богатыми месторождениями Кривого Рога, Донцом, Волгой и северными и западными районами России.

Независимо от Донецкого бассейна каменный уголь разрабатывается в польской Верхней Силезии и Московской губернии; в Азии начинается его разработка в Сибири, на Кавказе и в некоторых районах Урала.

В целом добыча угля в России выросла с 921 миллиона пудов в среднем за пятилетие 1898—1902 года до 1651 миллионов пудов в среднем за пятилетие 1908—1912 года, то есть прирост составил 79,3 процента.

Основным нефтедобывающим центром России является Апшеронский полуостров (район Баку), только четыре больших месторождения которого поставляют три четверти нефти, добываемой в Российской империи.

Следует отметить значительные успехи, достигнутые в других районах, прежде малозначительных: в районе Грозного, в Сураханах, на острове Челекен, в Святом, Майкопе и Эмбене.

Недра Южной России, Кавказа, Урала и Сибири чрезвычайно богаты рудами всякого рода.

Железная руда особенно избыточна в Криворожском уезде Херсонской губернии, где существуют весьма мощные залежи, открытые в середине прошлого века и содержащие от 50 до 70 процентов чистого металла и включающие лишь незначительные следы серы и фосфора.

Добыча железной руды приближается в настоящее время к 400 млн. пудов, из которых на Криворожский бассейн приходится около 70 процентов.

С 1908 по 1912 год, то есть в тот период, который приводимые цифры не охватывают, производство литейного чугуна увеличилось почти на 50 процентов, железных и стальных полуфабрикатов — на 57, а железа и стали — на 37 процентов. Это примерно втрое больше прироста между 1898 и 1902 годом.

Добыча (меди.— *Ред.*) в 1912 году внезапно возросла до 2047 пудов, и этот прирост на 30,9 процента за год позволяет предположить, что очень скоро добыча меди в России сможет обеспечить все потребности империи и даже позволит вывозить часть металла.

Текстильная промышленность России превосходит... по объему рудную и металлургическую промышленность, вместе взятые, но крупные прядильные предприятия и большие ткацкие фабрики относительно новы: они стали развиваться преимущественно в последние двадцать лет.

Что касается собственно прядильных фабрик, их число превосходит сейчас 2200, на них занято около 200 000 рабочих и обрабатывается (1910 год) более 22 млн. пудов хлопка-сырца, причем... хлопок, произведенный в азиатской части России, представляет 11 240 000 пудов.

Количество пряжи, поставляемой отечественному ткацкому производству различными прядильнями империи, возросло с 16 млн. пудов в 1906 году до 21 млн. пудов в 1911 году.

Экспорт российской пряжи и изделий из хлопка за границу — в Персию, Китай, Турцию, Румынию, Болгарию — значительно прогрессирует. В 1906 году он оценивался в 25 010 000 рублей, а в 1911 году — в 32 505 000 рублей.

Число шерстяных мануфактур, прядильных и ткацких, между 1902 и 1912 годом выросло с 1015 до 1205, а число занятых на них рабочих — со 145 903 до 155 094. Что касается числа веретен и механических двигателей в ткацком производстве, то оно увеличивалось ежегодно в течение наблюдаемого периода соответственно на 15 и 6 процентов.

В 1902 году число российских мануфактур, обрабатывающих лен и коноплю, составляло 395, в среднем 174 рабочих на предприятие. В 1912 году число мануфактур снизилось до 258, но среднее число рабочих на предприятие составило 388. Это несомненное доказательство того, что этот род текстильной промышленности из некогда кустарного превращается в крупное производство.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

П. Милюков

Витте и Столыпин

Витте

Прежде всего мы должны познакомиться с фигурой Витте — господствующей фигурой момента. Я буду говорить о ней, как я сам понимаю этого крупного деятеля. Это был редкий русский самородок — со всеми достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он стоял головой выше всей той правящей верхушки, сквозь которую ему приходилось пробивать свой собственный путь к действию. А действовать — это была главная потребность его натуры. Как всякий самородок, Витте был энциклопедистом. Он мог браться за все, учась попутно на деле и презирая книжную выправку. Со своим большим здравым смыслом он сразу отделял главное от второстепенного и шел прямо к цели, которую поставил. Он умел брать с собой все нужное, что попадалось по дороге, и отбрасывать все ему не нужное: людей, знания, чужие советы, закулисные интриги, коварство друзей, завистников и противников. Он прекрасно умел распознавать людей, нужных для данной минуты, организовать их труд, заставлять их работать для себя, для своей цели в данную минуту. Большое уменье во всем этом было необходимо, потому что и дела, за которые он брался, были большого масштаба. По мере удачи росла и его самоуверенность, поднимался командующий тон, крепла сопротивляемость всему постороннему и враждебному. При неудаче он становился страстен и несправедлив, никогда не винил себя, чернил людей, ненавидел противников. Наткнувшись на препятствие, которого одолеть не мог, он сразу падал духом, терял под ногами почву, бросался на окольные пути, готов был на недостойные поступки — и, наконец, отходил в сторону, обиженный, накопляя обвинительный материал для потомства,— потому что в самооправдании он никогда не чувствовал нужды.

Придворная среда, в которой Витте приходилось не столько действовать, сколько искать опоры для действия, была для него неблагоприятна. На Витте там смотрели — да и он сам смотрел на себя,— как на чужака, пришельца из другой, более демократической среды, а потому как на человека подозрительного — и даже опасного. Витте со своей стороны дарил эту сановную среду плохо скрытым презрением, а она отвечала ему вынужденной вежливостью в дни его фавора и скрытой враждой. При Александре III этот фавор закреплялся самыми этими особенностями Витте. Грубоватый тон и угловатая речь импонировали императору и отвечали его собственной несложной психике. Упрощенные объяснения Витте были ему доступны, настойчивость — убедительна, а оригинальность и смелость финансово-экономической политики оправдывалась явным успехом. При Николае II — особенно благодаря его жене — все это переменилось. Безволие царя и злая воля царицы сталкивались с волевым характером и с решимостью к действию Витте. Определенность целей и готовность к их выполнению тяготили и стесняли вечно неготовую, робкую мысль императора. Давление начинало чувствоваться как насилие, вызывало растущее сопротивление; нетерпение росло, лицо и глаза монарха превращались в непроницаемую маску, и, наконец, под влиянием случайного наития со стороны какого-нибудь действительно «тайного» советника все разрешалось внезапным заочным отказом от сотрудничества вчерашнего фаворита. В своих обвинительных актах для потомства Витте тщательно и документально расследовал все подпольные ходы, приводившие в действие царскую пассивность; он не прочь был и сам прибегнуть к тем же путям. А в своих «Воспоминаниях», когда было уже не на что надеяться, он, не стесняясь и отбросив всякую осторожность, честил отборной бранью главного виновника своих непрочных взлетов и падений...



Сергей Юльевич Витте (1849—1915), граф, крупный русский государственный деятель. Министр путей сообщений в 1892 году, министр финансов с 1892, председатель Комитета министров с 1903 года. Именно он разрабатывал основные положения столыпинской реформы. Автор Манифеста 17 октября 1905 года.

Столыпин

П. А. Столыпин принадлежал к числу лиц, которые мнили себя спасителями России от ее «великих потрясений». В эту свою задачу он внес свой большой темперамент и свою упрямую волю. Он верил в себя и в свое назначение. Он был, конечно, крупнее многих сановников, сидевших на его месте до и после Витте. Для заслуженных сановников Государственного Совета он был чужим, выскочкой, пришельцем со стороны — и болезненно чувствовал свою изоляцию. Он был призван не на покой, а на проявление твердой власти; власть он любил, к ней стремился и, чтобы удержать ее в своих руках, был готов пойти на многое и многим пожертвовать. Не чуждый идеологий, которые были традицией в его семье[1], он был не чужд и интриги. Своих союзников он склонен был трактовать как очередные орудия своего продвижения к власти и менять их по мере надобности. Если принять в расчет его нетерпение победить и короткий срок его взлета, эта быстрая смена могла легко превратить вчерашних друзей в соперников и врагов — раздражать покровителей сменой внезапных капризов. А главным покровителем был царь, не любивший, чтобы им управляла чужая воля. Такова история возвышения и падения Столыпина, вернувшая его в конце к одиночеству, из которого он вышел, и к трагической развязке. Призванный спасти Россию от революции, он кончил ролью русского Фомы Бекета[2]...

После мартовского кризиса[3] Столыпин, по показанию Коковцова[4], стал «неузнаваем». Он «как-то замкнулся в себе». «Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него, молчаливо или открыто, но настроены враждебно»...

Приехав в Киев 28 августа, Коковцов застал Столыпина в мрачном настроении, выразившемся в его фразе: «Мы с вами здесь совершенно лишние люди». Действительно, при составлении программы празднеств их обоих настолько игнорировали, что для них не было приготовлено даже способов передвижения. На следующий день Столыпин распорядился, чтобы экипаж Коковцова всегда следовал за его экипажем, а 31-го он предложил Коковцову сесть в его закрытый экипаж — мотивировал это тем, что «его пугают каким-то готовящимся покушением на него» и он «должен подчиниться этому требованию». Коковцов был «удивлен» тем, что Столыпин как бы приглашает его «разделить его участь...» Нельзя ли сопоставить с этим каких-то более ранних «предчувствий» Столыпина, что он падет от руки охранника. Так разъезжали по городу оба министра два дня — и вместе приехали вечером 1 сентября на парадный спектакль в городском театре. Коковцов сидел в одном конце кресел первого ряда, а Столыпин в другом — «у самой царской ложи». Во втором антракте Коковцов подошел к Столыпину проститься, так как уезжал в Петербург,— и выслушал просьбу Столыпина взять его с собой: «Мне здесь очень тяжело ничего не делать». Антракт еще не кончился, и царская ложа была еще пуста, когда не успевший выйти из залы Коковцов услышал два глухих выстрела. Убийца, еврей Богров, полуреволюционер, полуохранник, свободно прошел к Столыпину, стоявшему у балюстрады оркестра, и также свободно выстрелил в упор. Поднялась суматоха; Столыпин, обратясь к царской ложе, с горькой улыбкой на лице, осенил ее широким жестом креста — и начал медленно опускаться в кресло. Государь появился в ложе, около которой с обнаженной головой стоял ген. Дедюлин; оркестр заиграл гимн, публика кричала «ура», и царь, «бледный и взволнованный», стоял один у самого края ложи и кланялся публике. Столыпина выносили на кресле; толпа повалила преступника на пол, потом полиция увела его. Начался разъезд. Коковцов, вместо вокзала, поехал в клинику и автоматически принял на себя обязанности Столыпина. Ему сообщили, что готовится еврейский погром, и он распорядился вернуть в город три казачьих полка, которые готовились к смотру следующего дня,— так как программа торжеств ни в чем не была изменена. Это был первый политический жест нового председателя Совета министров. На молебствие в соборе, назначенное в полдень 2 сентября, «никто из царской семьи не приехал и даже из ближайшей свиты государя никто не явился». А один член Третьей думы подошел к Коковцову и выразил сожаление, что он своей мерой пропустил «прекрасный случай ответить на выстрел Богрова хорошеньким еврейским погромом». Царя Коковцов нашел «совершенно спокойным»; он только «заметил, что полкам, конечно, было неприятно не быть на смотру после маневров». На опасения Коковцова относительно исхода покушения Николай ответил упреком в «обычном пессимизме»...

4 сентября вечером, соблюдая программу, Николай отплыл в Чернигов (где уже готовился еще один кандидат, черниговский губернатор Н. А. Маклаков, полюбившийся царской семье своим обращением). Столыпин был еще жив, но уже терял сознание, и царь, прямо с пристани, поехал в лечебницу поклониться его праху. Вернувшись во дворец, Николай вызвал к себе Коковцова и предложил ему, уже формально, пост председателя Совета министров. ●

---

[1] Прадед П. А. Столыпина, Аркадий Алексеевич (1778—1825), был другом М. М. Сперанского, дед, Дмитрий Аркадьевич (1818—1893),— писатель, философ, экономист, выдвинувший идею развития хуторских хозяйств и разрушения общины, отец, Аркадий Дмитриевич (1822—1899), также занимался писательской деятельностью.

[2] Фома Бекет — английский канцлер и затем архиепископ Кентерберийский в XII веке, известный конфликтом с королем Генрихом II из-за посягательств последнего на права духовенства. После примирения с королем Фома Бекет был в 1170 году убит в соборе Кентербери.

[3] Во время этого кризиса Столыпин, внесший в Думу законопроект, не угодный лицам, окружавшим императора, едва не был отправлен в отставку.

[4] В. Н. Коковцов — государственный деятель, близкий Столыпину. Преемник его на посту премьер-министра.

КОГДА МЫ ПРОСКОЧИЛИ ПОВОРОТ?

В. Дякин,
доктор исторических наук

Слишком запоздалая реформа

Отвергнув путь либеральных реформ, царизм оставил Столыпину, назначенному 8 июля 1906 года премьер-министром, слишком узкое поле для маневра.

Петр Аркадьевич Столыпин, представитель старого дворянского рода, троюродный брат М. Ю. Лермонтова, хотя и родился двадцать лет спустя после гибели поэта. Крупный помещик, способный, однако, оглядев завод, построенный купцом на его земле, написать жене не со злобой, а с удовлетворением: «Растет новая, сильная чумазая Россия». Искренне считал себя «первым конституционным министром внутренних дел». Готов был сотрудничать с Государственной думой, но при непременном условии, что она будет его слушаться. Подавляя революционное движение очень жесткими по понятиям начала XX века мерами, понимал, что репрессии лишь загоняют недовольство вглубь, тогда как надо устранить его причины. Но задуманные им политические реформы были узки изначально. Некоторое расширение круга земских избирателей и замена сословных курий на имущественные. Сосредоточение власти в уезде не в руках предводителя дворянства, как было раньше, а в руках назначаемого правительством чиновника. Суть этих реформ проста. «Дворян слишком мало, они редеют и скоро будут так редки, как зубры в Беловежской Пуще» — это признание принадлежит известному черносотенцу Н. Е. Маркову (Маркову-второму). С точки зрения Столыпина, из этого следовало, что дворянам пора немного потесниться и дать в земстве больше места помещикам «неблагородного» происхождения и крестьянам-собственникам. Что дворянский предводитель, лишь изредка наезжающий в свой уезд, не годится для управления им. С точки зрения поместного дворянства, раз редеют наши ряды и уплывает из рук земля, особенно важно сохранить наши сословные привилегии и нашу политическую власть.

После напрасных надежд на крестьянские голоса на выборах в I и II Думы Николай все больше делает ставку на дворян. Он обижен на них за либерализм прежних земских лидеров, которых черносотенная волна уже вымела из земства в 1906 году. Он дуется на великосветское общество, холодно принявшее когда-то его жену. Он верит в верноподданнические чувства богомольного мужика. Но он чувствует, что судьба династии и судьба дворянства связаны воедино. Поэтому он благосклонен к противникам Столыпина, выговаривающим помещичьи обиды на премьера. К тому же он не любит, если министр становится популярным и «заслоняет» его. Столыпин проиграл спор с поместным дворянством, и его политические реформы не удались.

Но главным для судеб страны оставался крестьянский вопрос. Осенью 1906 года в крестьянской политике царизма произошел очередной переворот. Указом 9 ноября было начато наступление на общину с целью форсированно сломать ее и перевести крестьян на хутора и отруба.

Экономическая целесообразность этой реформы, названной столыпинской, хотя ее проект был разработан еще до него, не вызывает сомнений. Реформа довершала то, что нужно было сделать еще в 1861 году. «Указ,— говорил в Думе А. В. Кривошеин, ставший в мае 1908 года министром земледелия и ближайшим союзником Столыпина не только в аграрных делах,— отказывается от прекрасной, но несбыточной мечты, что в общине все могут оказаться сытыми и довольными... Он допускает мысль, что от земли могут уйти те, кто хочет и может устроиться лучше, кто не призван быть на ней умелым хозяином... В интересах государства каждый клочок земли должен быть в руках того, кто лучше всех сумеет взять от земли все, что она может дать».

Но ведь это же самое твердили в XIX веке Валуев, Барятинский, Бунге и другие. Ведь это же самое говорил в начале XX века Витте, считавший, однако, что выход из общины может быть только добровольным, а потому результат станет виден лишь тогда, когда «я не буду уже свидетелем происходящего». Тот же Кривошеин весной 1905 года еще предупреждал, что очень нужный переход к хуторам и отрубам — «задача нескольких поколений». Об этом свидетельствовал и весь мировой опыт. Но между всеми прежними заявлениями и Указом 9 ноября лежала пугачевщина 1905—1906 годов. Расселить крестьян хуторами и мелкими поселками требовалось не только по экономическим, но и по политическим причинам. «Дикая, полуголодная деревня, не привыкшая уважать ни свою, ни чужую собственность, не боящаяся, действуя миром, никакой ответственности,— подчеркивал Столыпин,— всегда будет представлять собой горючий материал, готовый вспыхнуть по каждому поводу». И царизм, ощутив сполна эту угрозу, стал крушить общину.

Еще раз хочу подчеркнуть: экономически реформа была целесообразна, больше того, до зарезу необходима. В случае удачи она сулила тем, кто к ней приспособился, более интенсивные формы хозяйствования, более высокие урожаи, более высокий уровень жизни. Она сулила прочный внутренний рынок для промышленности, увеличение хлебного экспорта и за его счет — погашение огромного внешнего долга. Но все это — в случае удачи.

Между тем реформа уже задумана была неудачно. Чувствуя за спиной неумолимую, как шаги Командора, поступь истории, Столыпин торопился, подгонял экономические процессы полицейским вмешательством. Общину обязывали производить передел и выделять в один участок землю выходящего из нее хоть ежегодно, хоть по требованию одного человека. А это каждый раз означало передвижку всех полос, полную невозможность спокойно хозяйничать остающимся в общине и в результате — вражду общинников и хуторян. Вражда и насилие — плохие союзники в делах экономики. Кроме того, хутор не годится для всех регионов страны. Хуторское хозяйство, автономное по своей природе, возможно только там, где скоту обеспечен водопой — берег реки, пруд, на худой конец колодец. Но большая часть пахотных земель Европейской России засушлива и маловодна.

Раньше Столыпина это понял Кривошеин. Министерство внутренних дел добивалось выхода крестьян из общины. Их дальнейшее землеустройство, вывод на хутор или отруб — дело Министерства земледелия. Уже в 1908 году правила о землеустройстве допускают отруб: в один участок сводится только пашня, усадьба остается в деревне (а значит, крестьяне не расселяются), как правило, сохраняется и общий выпас. Но и с нарезкой отрубов Министерство земледелия не справляется. В 1906 году в его штате всего двести межевых чинов. К 1914 году были наскоро подготовлены чиновники, способные справляться с простейшими землемерными работами. Но и их всего шесть тысяч на всю Россию. Гонять землемеров повторно на одну и ту же деревню ради нескольких отрубов невозможно. В 1910 году Кривошеин приказывает в первую очередь межевать земли там, где вся община договорилась о разделе, «хотя бы для этого и понадобилось поступиться требованием скорейшего завершения дела». В январе 1914 года он подтверждает это распоряжение. Штурм общины, похоже, захлебывается.

Реформа требовала денег. Хотя после 1906 года планы массовой покупки помещичьих земель были не только оставлены, но и признаны вредными, совсем без такой покупки реформа идти не могла. Для образования участкового хозяйства нужен был маневр землей. Он достигался за счет наделов тех, кто, воспользовавшись открывшейся возможностью, вообще уходил из общины, тех, кто переселялся в Сибирь или продавал общине наделы, перебираясь на земли, купленные с помощью Крестьянского банка. За 1906—1913 годы банк выдал на эти цели ссуды на 929 миллионов рублей. Это не благодеяние. Как я уже говорил, долг погашался с учетом процентов в тройном размере. Министерство финансов подчеркивало, что расход на расширение крестьянского землевладения «ложится на само крестьянское население в виде ипотечной (земельной.— *В. Д.*) задолженности». Но пока облигации, за которые банк получает деньги на свои операции, гарантирует, а в большой мере и покупает казна. Из бюджета идут средства на землеустройство — 134 миллиона рублей в Европейской России, примерно столько же в Сибири. Всего — близко к полутора миллиардам. Для того времени — очень большие деньги, годовой бюджет России только в 1911 году перевалил за три миллиарда.

Но лиха беда начало. Деньги нужны не только на приобретение дополнительной земли и межевание. Наладить более совершенное хозяйство на хуторе или отрубе стоит денег. Нужны лошадь покрепче, плуг получше, семена качественней. А на хутор еще нужно перенести усадьбу со всеми постройками. «Нарезать отрубные и хуторские участки, посадить на них приобретателей-крестьян и затем бросить их на произвол судьбы,— говорилось на совещании в МВД весной 1908 года,— значило бы обречь реформу на верную неудачу». Но на то, чтобы ссудить

крестьянам еще и на обзаведение хозяйством, у казны средств не было.

Войны и строительство железных дорог заставляли царизм систематически прибегать к займам. Одна лишь русско-японская война обошлась в два миллиарда рублей долга, а всего к началу земельной реформы государственный долг России составил почти девять миллиардов рублей.

В условиях рыночного хозяйства теоретически всегда есть возможность привлечь частный капитал. Но он идет либо туда, где ожидаемый доход выше, а в России это значило — в промышленность, либо туда, где доход хотя и скромнее, но нет риска — в государственные или гарантированные государством облигации. На такие гарантированные облигации действовали в России все земельные (ипотечные) банки — и те, что ссужали деньгами помещиков, и Крестьянский. Столыпин и Кривошеин предлагали, чтобы Крестьянский банк или какой-нибудь новый, специально для того созданный, выпустили новые облигации, а на полученные средства открыли крестьянам кредит на устройство их хозяйств. Речь шла о больших деньгах. Совещание 1908 года надеялось, что хватит 500 миллионов рублей. На деле понадобилось бы больше.

Но и эта цифра пугала Коковцова. Денежный рынок небезграничен, нельзя взять взаймы больше, чем дают. В 1908—1914 годы ипотечные займы и капиталовложения в промышленность поглощали примерно до 40 процентов новых капиталов, остальное шло на государственные, железнодорожные и городские займы. Большая часть денег по ипотечному кредиту попадала в карман помещикам. Если еще призанять на сельскохозяйственные цели, хватит ли денег промышленности?

Есть и еще одна сторона дела. Владелец денег сам выбирает, куда их вложить. Ему не прикажешь, это ведь не плановое хозяйство. Для того чтобы облигации ипотечных банков покупали, по ним устанавливался более высокий процент, чем по государственным займам. Но тогда опять-таки, чем больше таких облигаций, тем меньше станут покупать государственные займы. Зашатается бюджет. Упадет курс рубля. Это угроза для всей экономики, в том числе и сельского хозяйства. Но Кривошеин и Столыпин отметали эти возражения. Они были уверены, что денег хватит на все, а если и впрямь приток средств к сельскому хозяйству грозит ущербом для других отраслей — «другие потребности должны быть поставлены на второй план» в интересах «разумного и полного использования сил... сельского населения».

...Но нельзя было колебать государственный кредит и устойчивость рубля. Благодаря золотому запасу, накопленному Витте, финансы России все же не рухнули в пропасть в 1905 году. Помня об этом, Коковцов заново собирал золотой запас на случай новой войны и революции. В этом была его правота. Вернее всего, очевидно, сказать так: старые грехи царизма (его старые долги), гонка вооружений и непомерные расходы на поддержку дворянского землевладения встали на пути финансирования земельной реформы.

Что же она дала? За 1907—1914 годы из общины вышла четверть всех крестьян. Это немало, но нельзя забывать о нажиме властей. Кроме того, подавляющая часть укрепивших в собственность свою полоски,— по моим подсчетам, 85 процентов — не смогли или не захотели собрать их в один кусок. Не случайно после Октября во многих местах крестьяне восстановили общину. Иначе на этих чересполосных землях трудно было хозяйничать. Лучше шел выдел отдельных участков там, где о разделе договаривалась вся деревня. Чаще так было в западных губерниях, где не было общины, а была так называемая подворная собственность — хотя и чересполосная, но без переделов. Это понятно. Успев похозяйничать на собственных полосках, крестьяне-подворники были психологически лучше подготовлены к следующему шагу — к отдельному единому участку. Размежевывались и общинники. Одни — глядя на соседей-подворников, другие — устав от ежегодных принудительных выделов и передвижек полос. Всего к началу мировой войны на хутора и отруба размежевались 1,2 миллиона дворов. Еще 270 тысяч участковых хозяйств создано на землях Крестьянского банка. Всего, значит, примерно полтора миллиона (из них только 200 тысяч хуторов), или десять процентов от общего числа крестьянских дворов в Европейской России. За восемь лет реформы это немало; процесс шел, хотя медленнее, чем надеялся Столыпин. Но главное в другом. Сейчас принято писать, будто реформа привела к быстрому подъему крестьянских хозяйств. Это очень спорное утверждение.

Реформа привела — вот это действительно так — к быстрому подъему Сибири. Переселенцы составили половину общего прироста населения сибирских губерний за эти годы. Были распаханы новые земли. Появились новые города. Конечно, многие не нашли удачи в зауральских краях, превратились в батраков у старожилов или нищими вернулись домой. Но осевшие в Сибири становились более или менее крепкими хозяевами. Росли урожаи хлебов. Сибирское крестьянское масло становилось все более заметной статьей российского вывоза.

В Европейской России все шло иначе. Ломка системы хозяйства всегда болезненна, особенно для бедняка. У нас было принято доказывать, что целью столыпинской реформы была опора на кулака. Не так. Целью было создание массы мелких собственников. В российской деревне масса не могла состоять из кулаков, точнее, из богатых крестьян (кулак, по понятиям того времени,— вообще не земледелец, а «мироед» — трактирщик, сельский торговец, ростовщик). Реформой хотели опереться на середняка. Но когда размежевываются целые деревни, единоличниками становятся и бедняки, ведь их в деревне большинство. «Я видел,—

Александр Иванович Гучков (1862—1936), лидер октябристов. Депутат и с 1910 года председатель III Государственной думы. В 1915—1917 годах — председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917 — военный и морской министр Временного правительства. Эмигрировал из России.



Павел Николаевич Милюков (1859—1943), русский политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, редактор газеты «Речь». В 1917 году — министр иностранных дел Временного правительства. Покидает Россию вскоре после Октябрьской революции. Автор трудов по истории России XVIII—XIX веков, Февральской и Октябрьской революций.

Владимир Николаевич Коковцов (1853—1943), граф, министр финансов Российской империи в 1904—1914 годы (с перерывом в 1905—1906), председатель Совета министров в 1911—1914 годы, крупный банковский деятель, сторонник курса С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Покинул Россию.

писал Кривошеину человек, которого он специально просил объехать ряд черноземных губерний,— семьи из десяти человек, сидящие на клочке в две — пять-шесть десятин, затратившие последние гроши, добытые путем займа, на перенос своих хат, живущие впроголодь на покупном хлебе уже теперь (ноябрь 1909 года) после обильного урожая. Какую-нибудь развалившуюся печь крестьянину не на что поправить. Доходов впереди никаких, и остаются неудовлетворенными его самые элементарные нужды».

Особенно трудно давались первые годы. Чиновники Министерства земледелия признавали: «Вышедшие на хутора и отруба единоличные собственники, несмотря на то, что они освободились от неудобств и стеснений чересполосного владения и получили возможность более производительно использовать свой труд, в большинстве случаев не в состоянии собственными силами и средствами поставить новое хозяйство так, чтобы оно приносило, по сравнению с прежним, больший доход». Прежде всего сокращалось поголовье скота, так как выделившиеся на хутора, а часто и на отруба (если это делалось против воли односельчан) лишались общинных выгонов. По наблюдениям современников, только имея более 20 десятин, можно было в центральных губерниях постепенно наладить пастьбу на собственной земле или стойловое содержание скота. Но столько земли в европейском Центре имели единицы. Любая неудача, а уж тем более засуха в Поволжье в 1911 году, совершенно разоряла новоиспеченных собственников, если у них было меньше пяти десятин на двор. А таких, по результатам обследования Министерства земледелия в 1913 году, была одна треть. По моим подсчетам, к началу войны не менее чем каждый десятый владелец хутора или отруба полностью или частично продал землю. А ведь это были те, кто хотел на ней удержаться!

И тем не менее благосостояние в деревне росло. Не так значительно, как это представляется сегодня многим публицистам, но росло. Только дело было не в столыпинской реформе. С 1907 года крестьяне перестали платить выкупные платежи, и с этого же года прочно пошли вверх мировые цены на хлеб. Сливки с них снимали перекупщики, но что-то перепадало и крестьянам. Появилась возможность копить деньги на покупку земли и машин. Именно с 1907 года начался рост вкладов в крестьянскую кредитную кооперацию, а позднее — спрос на сельскохозяйственные машины. К тому же в 1909, 1910, 1912, 1913 годах были обильные урожаи (в 1909 и 1913 — рекордные). Но в эти годы еще шла ломка системы хозяйства. Совет съездов представителей промышленности и торговли — руководящий орган российской буржуазии, очень заинтересованной в прочном подъеме сельского хозяйства, без которого у нее не могло быть достаточно покупателей,— в мае 1914 года напоминал правительству, что высокие урожаи «не могут еще быть поставлены на счет новому аграрному законодательству». А за урожайными годами на Руси неизменно приходят неурожайные.

Конечно, если бы реформа продолжалась хотя бы те двадцать лет, о которых говорил Столыпин, ее результат был бы гораздо существеннее еще и потому, что Кривошеин нащупал более мирный, а значит — и более правильный путь. Но этих двадцати лет дано не было. Весной 1911 года, за несколько месяцев до гибели, предчувствуя отставку, Столыпин говорил родным, что «его жиром» можно продержаться еще пять лет. Он думал о новой революции и, как видим, мало ошибался в сроках. Но до революции пришла и ускорила взрыв мировая война. И предотвратить ее было невозможно.

Царизм вступил в войну, не подготовив армию, не договорившись с либеральной оппозицией, не создав себе опоры в деревне. И потому судьба его была предопределена. А вслед за ним была предопределена судьба либерального и демократического центра. Цепляясь за неограниченность своей власти, царизм не дал сформироваться в стране традициям конституционализма и правового государства. Цепляясь сначала за крепостное право, а потом за общину, он не дал сформироваться заинтересованному в частной собственности классу самостоятельного крестьянства. В экстремальной ситуации ни призыв уважать закон, ни призыв



Крестьянские дети



Н. Гончарова, «Весна в городе», 1911 год.

уважать собственность не могли быть услышаны всколыхнувшейся массой. Слишком долго не получая ничего или почти ничего, она с неизбежностью должна была пойти за теми, кто обещал ей все. «В случае войны и сопряженных с нею потрясений,— предсказывал уже упоминавшийся выше Изгоев весной 1914 года,— не кадеты будут на гребне волны, а крайне левые, которые первыми утопят кадетов, а затем и меньшевиков».



Так где ж мы проскочили поворот?

История — не фатальный, но закономерный процесс, и не так уж часто останавливается она перед выбором пути, как это думается некоторым сейчас. Но и тогда, когда она действительно оказывается на развилке, не случайный выбор того или другого человека, будь то царь или революционный лидер, определяет дальнейшее направление движения. Сплетается воедино так много и субъективных устремлений, и объективных обстоятельств, что выбрать из клубка одну нить и сказать: вот если бы вовремя за нее потянуть или, наоборот, вовремя ее убрать, то все было бы в порядке — значит заниматься не изучением истории, а умственными спекуляциями по ее поводу.

Я судил о прошлом, зная, к чему мы пришли. С позиций этого знания я и назвал те два рубежа, когда, как мне кажется, при ином стечении всей суммы обстоятельств история России могла бы пойти иначе. Но если попытаться проникнуться психологией людей, от которых этот выбор зависел тогда, быть может, невозможность для них поступать иначе, чем они поступали, выступит определенней. Поэтому, вероятнее всего, мы ничего и «не проскакивали». А просто по свойственной людям привычке ищем золотой век позади себя, тем более что сияние будущего горизонта померкло. Мы живем в том настоящем, которое досталось нам от прошлого. И судим это прошлое каждый со своих позиций. Но сколько бы мы его ни судили, оно уже не изменится. Нет-нет. Я не призываю «перестать ворошить прошлое». Нам надо с ним разобраться. Только, увлекшись поисками вчерашних альтернатив, не зазеваться бы на повороте сегодня.

П. Милюков

«Мавр может уйти»

5 октября в Ливадии, в день именин наследника, Александра Федоровна имела с Коковцовым специальный часовой разговор, раскрывавший ее карты и «буквально записанный» ее собеседником. Разговор этот начался с повторения слов государя: «Мы надеемся, что вы никогда не вступите на путь этих ужасных политических партий, которые только и мечтают о том, чтобы захватить власть или поставить правительство в роль подчиненного их воле». Коковцов попытался ответить, что он всегда был вне партий и в этом усматривает слабость своего положения, которое «гораздо труднее» положения Столыпина в смысле работы с законодательными учреждениями. Он или не понимал или не хотел понять, что мысль царицы шла совсем в противоположную сторону. И она стала еще откровеннее: «Я вижу, что вы все делаете сравнения между собою и Столыпиным. Мне кажется, что вы очень чтите его память и придаете слишком много значения его деятельности и его личности». «Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало... Я уверена, что каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стушеваться, так как ему нечего было больше исполнять. Жизнь всегда получает новые формы, и вы не должны стараться слепо продолжать то, что делал ваш предшественник. Оставайтесь самим собой, не ищите поддержки в политических партиях; они у нас так незначительны. Опирайтесь на доверие государя — Бог вам поможет. Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить вам место, и что это — для блага России».



К. Сомов. Заставка.

Что это было: мистика или конкретная политическая программа? Коковцов должен был понять, что он предназначался на роль следующего «мавра», который, окончив свою очередную роль, тоже перестанет быть нужен «для блага России» и тоже подвергнется, в той или другой форме, участи Столыпина, о котором «через месяц после его кончины... мало кто уже и вспоминал»... А «через месяц» произошло следующее. На докладе Коковцова царь смущенно сказал ему, что, желая ознаменовать «добрым делом» выздоровление наследника, он решил прекратить дело по обвинению Курлова, Кулябки, Веригина, Спиридовича — киевских охранщиков — в «небрежности» их поведения в день убийства Столыпина. Коковцов взволновался, стал доказывать царю, что Россия «никогда не помирится с безнаказанностью виновников этого преступления, и всякий будет недоумевать, почему остаются без преследования те, кто не оберегал государя... Бог знает, не раскрыло ли бы следствие нечто большее»... Царь остался при своем. В вечер 1 сентября он лично опасности не подвергался.

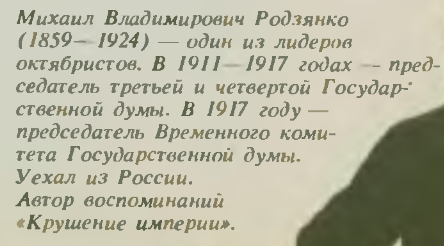
Вступив в отправление должности, Коковцов скоро сам очутился перед испытанием, которое должно было приоткрыть для него, откуда идут нити этой высокой политики. Он подвергся испытанию — на Распутина.

Так как Коковцов, несмотря на усиленные настояния, отказывался его видеть, то... Распутин сам назвался на свидание. Он пробовал гипнотизировать Коковцова своим пристальным взглядом, молчал и юродствовал, но когда увидал, что это не производит никакого действия на министра, заговорил о главной теме визита. «Что ж, уезжать мне, что ли? И чего плетут на меня?» — «Да,— отвечал Коковцов,— вы вредите государю... рассказывая о вашей близости и давая кому угодно пищу для самых невероятных выдумок».— «Ладно, я уеду, только уж пущай меня не зовут обратно, если я такой худой, что царю от меня худо». На следующий же день «миленькой» рассказал о разговоре в Царском и сообщил о впечатлении: «там серчают... кому какое дело, где я живу; ведь я не арестант». Еще через день, при докладе царю о разговоре, Николай спросил: «Вы не говорили ему, что вышлете его?» — и на отрицательный ответ заявил, что «рад этому», так как ему было бы «крайне больно, чтобы кого-либо тревожили из-за нас». А в ответ на отрицательную характеристику «этого мужичка» царь сказал, что «лично почти не знает» его и «видел его мельком, кажется, не более двух-трех раз, и притом на очень больших расстояниях времени». Едва ли он был искренен. Но в тот же день Коковцову сообщили, что Распутину известно о неблагоприятном для него докладе царю и что он отозвался: «Вот он какой; ну что же, пущай; всяк свое знает». А когда Коковцов удивился быстроте передачи из Царского на квартиру Распутина, ему пояснили: «Ничего удивительного нет; довольно было... за завтраком рассказать (царице)... а потом долго ли вызвать Вырубову, сообщить ей, а она сейчас же к телефону — и готово дело». Вся организация сношений здесь — как на ладони.

Распутин все же уехал через неделю, но тут же дело осложнилось тем, что в руках Гучкова оказалось письмо императрицы к Распутину, где была, между прочим, цитируемая Коковцовым фраза: «Мне кажется, что моя голова склоняется, слушая тебя, и я чувствую прикосновение к себе твоей руки». Гучков размножил текст письма и решил сделать из него целую историю, передав копию Родзянке — на предмет доклада императору. Это как-то совпало с обращением самого Николая, переславшего председателю Думы дело о хлыстовстве Распутина, начатое тобольской духовной консисторией. Дело было вздорное, и нужно было эти слухи опровергнуть. Но Родзянко очень возгордился поручением, устроил целую комиссию с участием Гучкова и приготовил обширный доклад.

Тут припуталось и дело о письме Александры Федоровны, и Родзянко возомнил себя охранителем царской чести. Обо всем этом, конечно, было «по секрету» разглашено и в Думе, и вне Думы, и Родзянко стал готовиться к докладу. Тем временем Макаров разыскал подлинник письма и имел неосторожность передать документ Николаю. О произведенном впечатлении свидетельствует сообщение Коковцова. «Государь побледнел, нервно вынул письма из конверта и, взглянувши на почерк императрицы, сказал: «Да, это не поддельное письмо», а затем открыл ящик своего стола и резким, совершенно непривычным ему жестом швырнул туда конверт». Выслушав этот рассказ от самого Макарова, Коковцов сказал ему: «Теперь ваша отставка обеспечена».

Впечатление глубокого личного оскорбления, вызванное непрошеным вмешательством в самые интимные стороны семейной жизни, распространилось, из-за Родзянко и Гучкова, и на Государственную думу. Родзянко получил свой доклад у царя и, вернувшись, с большим воодушевлением рассказал о том, какое глубокое впечатление произвели его слова и каким престижем пользуется имя Государственной думы, но в частности по поводу доклада о Распутине царь сказал только, что пригласит его особо. После тщетного ожидания Родзянко написал царю просьбу о приеме по текущим делам Думы. Ответа не было; тогда Родзянко приехал к Коковцову, жаловался на обиду, наносимую народному представительству, и грозил подать в отставку. А царь в действительности вернул Коковцову просьбу Родзянки со своей резолюцией, написанной карандашом: «Я не желаю принимать Родзянко... Поведение Думы глубоко возмутительно». Коковцов скрыл от Родзянко эту резолюцию и убедил царя заменить ее запиской, что примет его по возвращении из Крыма. Родзянко был доволен и демонстративно заявил окружавшим его депутатам, что «государь был всегда расположен» к нему лично «и не решился бы портить отношений к Думе оказанием невнимания к ее избраннику». Уезжая, Николай говорил при прощанье Коковцову: «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы... Постараюсь вернуться как можно позже». При отъезде императрица прошла мимо провожавших в вагон, ни с кем не простившись. Не успел царь доехать до Ливадии, как Распутин вернулся в Петербург. В Крыму Александра Федоровна проявляла явные признаки невнимания к Коковцову. Но уже и до этого — и до своего свидания с Распутиным, Коковцов почувствовал, что его «медовый месяц» приходит к концу. Царь требовал самых решительных карательных мер против печати, откликавшейся на слухи о Распутине, а Коковцов и Макаров доказывали ему, что этого никак нельзя сделать через Думу в законодательном порядке. По поводу прений в Думе по синодской смете Мария Федоровна вызвала его поговорить о распутинской истории, «горько плакала» по поводу его объяснений, обещала поговорить с государем и закончила таким прогнозом: «Несчастная моя невестка не понимает, что она губит и династию, и себя. Она искренне верит в святость какого-то проходимца, и все мы бессильны отвратить несчастье». В нескольких словах здесь был точный анализ очень плачевно сложившегося положения — и верный исторический прогноз, к которому Коковцов не мог не присоединиться. Несколько позднее, по поводу торжеств трехсотлетия дома Романовых, и сам Коковцов поставил следующий, вполне верный диагноз самого корня государственной болезни. «В ближайшем кругу государя понятие правительства, его значения, как-то стушевалось, и все резче и рельефнее выступал личный характер управления государем, и незаметно все более и более сквозил взгляд, что правительство составляет какое-то «средостение» между этими двумя факторами (царем и народом.— *П. М.*), как бы мешающее их взаимному сближению. Недавний ореол «главы правительства» в лице Столыпина в минуту революционной опасности совершенно поблек (при Коковцове.— *П. М.*), и упрощенные взгляды чисто военной среды, всего ближе стоявшей к государю, окружавшей его и развивавшей в нем культ «самодержавности», понимаемой ею в смысле чистого абсолютизма, забирал все большую и большую силу (здесь главным образом разумеется влияние Сухомлинова.— *П. М.*)... Переживания революционной поры 1905—1906 годов сменились наступившим за семь лет внутренним спокойствием и дали место идее величия личности государя и вере в безграничную преданность ему как помазаннику Божию всего народа, слепую веру в него народных масс... В ближайшее окружение государя, несомненно, все более и более внедрялось сознание, что государь может сделать все один, потому что народ с ним... Министры, не проникнутые идеею так понимаемого абсолютизма, а тем более Государственная дума, вечно докучающая правительству своею критикою, запросами, придирками и желанием властвовать и ограничивать исполнительную власть,— все это создано, так сказать, для обыденных, докучливых текущих дел и должно быть ограничиваемо возможно меньшими пределами...



Михаил Владимирович Родзянко (1859—1924) — один из лидеров октябристов. В 1911—1917 годах — председатель третьей и четвертой Государственной думы. В 1917 году — председатель Временного комитета Государственной думы. Уехал из России. Автор воспоминаний «Крушение империи».

Камчатская экспедиция

В залах Императорского Русского Географического Общества открылась «Выставка коллекций камчатской экспедиции» и знакомит посетителей с теми результатами, которые были добыты участниками экспедиции на Камчатку 1908—1912 годов. Было образовано пять экспедиционных отделов: геологический, зоологический, ботанический, метеорологический и антропогеографический.

Уже с первых шагов по выставке становится ясно, какие сокровища таит этот замечательный край. Мы узнаем, что Камчатка покрыта вулканами, причем многие из них действуют, посылая на поверхность серные пары и дым и образуя так называемые «фумаролы». Мы узнаем далее, что растительность и фауна Камчатки богаты и разнообразны.

На Камчатке водятся медведи нескольких пород, множество птичьих пород и как характерная особенность этого приморского края — колоссальное количество рыб и морских животных: тюленей, сивучей, китов.

Главное место на выставке занимает этнографический отдел. Здесь перед посетителем проходит в главных чертах вся жизнь камчатского аборигена — алеута и камчадала, с его главными занятиями — охотою и рыболовством, с его домашней жизнью и обстановкой.

Эта интереснейшая выставка знакомит нас с отдаленным и еще так мало обследованным уголком нашей родины и дает ясное понятие о том значении, которое Камчатка может и должна иметь для нашего государства.

Журнал «Нива», 1913 год, № 2



Южнорусский помещик.

М. Ларионов. «Солдаты», 1911 год.

М. Добужинский, «Шарманщик», 1908 год



Аэроплан и волчок (гироскоп)

Если бы аэроплану можно было придать приспособление, которое само собой, автоматически регулировало бы его устойчивость в воздухе, то тем самым была бы, по крайней мере, наполовину обеспечена безопасность полетов. В поисках за таким автоматическим регулятором равновесия многие изобретатели за последнее время обратились к гироскопу.

Однако некоторые соображения заставляют опасаться, как бы неосторожное применение гироскопа к аэроплану не оказалось для последнего скорее гибельным, чем полезным. В сущности, все наши аэропланы имеют уже приспособление, являющееся настоящим гироскопом. Это — вращающиеся части мотора и пропеллер.

При крутом повороте пилот движением рычага резко поворачивает находящийся обычно в хвостовой части руль направления. Последний действует, как руль парохода, и ось аэроплана должна изменить свое направление. Но находящийся впереди аэроплана гироскоп (пропеллер) начинает оказывать сопротивление такому перемещению. При этом аэроплан резко наклоняется своей носовой или хвостовой частью, и нередко аппарат камнем летит вниз.

Поэтому, прежде чем думать о приспособлении гироскопа к аэроплану, приходится заняться уничтожением тех гироскопических свойств, которые придают аэроплану мотор и пропеллер. Быть может, этого можно достигнуть, поместив в аэроплане соответственно подобранное тело, которое вращалось бы в направлении, обратном вращению пропеллера, и тем самым уничтожало бы его гироскопическое действие.

Журнал «Всеобщий двухнедельник», 1911 год, № 6



Духовенство в Государственной думе (всех созывов).



Л. Бакст. Эскиз костюма, 1911 год.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

И. Смирнов

О первых и последних

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,
Здесь первые на последних похожи,
И не меньше последних устали, быть может,
Быть скованными одной цепью.

«Наутилус Помпилиус»

Среди утомительного пафоса разной окраски «запрограммированной» истории особый интерес представляют работы тех ученых, которые в годы тотальной лысенковщины сохранили традицию нормального исследования. После выхода заключительного, уже посмертного, издания книги «Царизм накануне свержения» А. Я. Авреха (издательство «Наука», 1989 год), думаю, необходимо представить читателям выдающегося исследователя отечественной предреволюционной истории, тем более что сюжеты, которыми он занимался, на наших глазах перемещаются из прошлого в настоящее.

Не все те, кому было что сказать, дожили до отмены идеологической цензуры. Арон Яковлевич скончался два года назад. Совершенно естественно, что книги его о том периоде, когда КПСС уже начала отсчет своих съездов, содержат все необходимые ритуальные элементы. Впрочем, последние удивительно мало влияют на несущие конструкции исследования, образуя некую декорацию, которая легко отделяется.

Итак, начнем, вслед за А. Я. Аврехом, с оценки Лениным распределения реальной власти в стране после первой революции: создание Государственной думы и прочих представительных учреждений ограничило самодержавие не более, чем на одну сотую его власти. Следовательно, причины национальной катастрофы мы должны искать прежде всего на верхушке социальной пирамиды — на троне и у его подножия. Оставляя в стороне как творчество революционных памфлетистов типа Василевского (чьи вариации на темы Светония «Романовы» представляли весь этот род мрачной процессией дегенератов), так и апологетику, хорошо знакомую читателям современной бульварной периодики, Аврех возвращает нас к реальности, к спокойному и вдумчивому прочтению источников. Прекрасный семьянин, «симпатичный, простодушный и приятный в общении человек», Николай Александрович был именно таким, каким должен был быть император в империи периода упадка; его достоинства представляются достоинствами частного лица, которые применительно к управлению огромной державой оборачиваются зачастую едва ли не пороками, а в отрицательных качествах его личности отразились пороки самой державы. А держава эта раскалывается изнутри от растущего напряжения на стыке бурно развивающихся европейских технологий, организаций, идей с застывшими традициями, уходящими корнями в Золотую Орду.

Противоречие это было, как теперь очевидно, глубоким и скрытым, доходя до трагической дисгармонии в сознании практически каждой осознающей себя личности.

Блестяще знавший пять иностранных языков, Николай II был по своим убеждениям абсолютно средневековым человеком, унаследовавшим представление о правильной организации общества, минуя XIX век, прямо из эпохи Ивана Грозного (не зря же он порицал Петра за «увлечения западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев»). «Вера в то, что народ (и особенно армия) обожает своего монарха именно за то, что он монарх неограниченный и самодержавный, была у царской четы тем сильнее, чем меньше имелось для этого оснований,— пишет А. Я. Аврех.— Эта вера была совершенно иллюзорной». Весьма эмоционально выразила ее императрица в письме к супругу: «Эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться!» Не подумайте, что Александра Федоровна называет «тварями» социал-демократов или хотя бы кадетов,— речь идет о монархическом большинстве Государственной думы четвертого созыва. И умеренный Гучков, и просто послушный Родзянко воспринимались царской четой как «революционеры» и вызывали у нее рефлекторную неприязнь. (Точно так же брежневское руководство не видело особых различий между марксистом Р. Медведевым и последовательным антикоммунистом А. Солженицыным: оба «антисоветчики».)

Николай II не был негодяем в общепринятом значении этого бранного слова, хотя некоторые его поступки вызывают невольные ассоциации с Нероном, например, обращение к «депутации рабочих», собранной полицией в Царское Село через десять дней после расправы над мирной демонстрацией: «Прощаю им вину их» («им», то есть расстрелянным и порубленным он прощает вину перед убийцами). Или такой диалог в Ставке во время войны с начальником штаба М. В. Алексеевым:

«— Потери громадны, особенно в пятом корпусе, ваше величество.

— Ну что значит «громадны»?

— Около пятидесяти процентов, ваше величество...

— Э-э-э, Михаил Васильевич, такие ли еще погибали, обойдемся с другими, еще хватит».

Николай II следовал собственной логике, или, как сказал бы Г. К. Честертон, «читал свою Библию», он совершенно искренне не воспринимал страдания, смерть и вообще какие-либо личные проблемы «подданных» как события, достойные внимания самодержца, точно так же, как блестяще образованный трубадур Бертран де Борн не мог принимать всерьез уничтожение вилланов вместе с их деревнями и посевами во время «романтичной» феодальной войны. Ни тот ни другой (в отличие от Нерона или Сталина) не были лицемерами. Хотя называть их христианами — лицемерие уже с нашей стороны и по отношению к жертвам такого «христианства», и по отношению к Евангелию.

Не был Николай и «слабовольным, ограниченным ничтожеством», чьей-либо «марионеткой» — М. Кольцов, которого не упрекнешь в симпатиях к царизму, совершенно правильно отмечает, что в критическую минуту именно государь проявлял наибольшую твердость духа из всего своего окружения. И верность «принципам, которыми нельзя поступиться». Другое дело, что, отстаивая эти принципы XVI века в начале двадцатого, Николай неминуемо вынужден был отсекать от себя не только всех в общем преданных, но склонных к реформам или просто самостоятельно мыслящих людей (Витте, Столыпин, Зубатов, те же октябристские лидеры Родзянко и Гучков), но и просто грамотных, честных служак-бюрократов, поскольку последние тоже не могли жизнерадостно рапортовать о досрочном выполнении заведомо невыполнимых указаний.

«Заколдованный круг все убыстряет свое вращение: чем выше мнение царя (и царицы) о своей правоте и мудрости, тем мельче окружение, подчиняющее свое поведение этому постулату, и, наоборот, чем угодливее это окружение, тем больше убеждается монарх в своей правоте и мудрости». И пляшут в этом заколдованном кругу сменяющие друг друга алкогольные дегенераты, половые извращенцы, воры и мошенники, маразматики и сифилитики, до тех пор, пока здание, все сильнее раскачиваемое этой пляской, не рушится им (и всем остальным) на головы. Злая ирония истории состоит в том, что наследовавшие убийцам Николая II на закате собственного абсолютизма в точности повторили тот же балаган разлагающейся власти (разве только вместо Протопопова — Чурбанов).

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что судьба Николая Александровича не была ни балаганом, ни дешевым детективом о кознях немецких агентов, ни, естественно, «житием святого» в средневековой традиции. Это была трагедия в изначальном, античном значении слова.

Здесь мы подходим к теме, на которой паразитирует максимальное число околоисторических спекулянтов,— к Распутину. Аврех дает, на мой взгляд, совершенно ясное и исчерпывающее объяснение этой истории, запутанной скорее усилиями недобросовестных комментаторов, нежели самой Клио.

Прежде всего царская чета, не доверявшая умным министрам, постоянно окружала себя не только шарлатанами, но и всевозможными юродивыми, как говорили в старину — «дураками» и «дурками»; «Филипп, Митя Кояба, инок Мардарий, старица Мария Михайловна, Паша из Дивеева, босоножка Олег, Василий,— перечисляет Аврех предшественников и конкурентов Распутина,— это уже правило». Правило странное, если судить о последних Романовых по докторскому диплому Кембриджа у Александры Федоровны. И вполне нормальное, если вспомнить быт средневековых феодальных дворов. Точно так же и сам «святой старец» с символической фамилией удивителен разве что для Европы XX века, но хро-

ники, летописи и анналы всех стран и народов переполнены сюжетами о взлетах и падениях таких и даже более непотребных фаворитов. Аврех приводит убедительные свидетельства того, что и сам император, и Александра Федоровна, которая, несмотря на истерический склад характера, вовсе не была невменяемой, прекрасно знали и о пьяных безобразиях, и о сексуальных «подвигах» своего фаворита. У них не было оснований не доверять этим фактам — они искали (и находили) им оправдание. (Императрица помечала соответствующие места в книге о святых юродивых — есть, мол, с кого брать пример.) Но вот если бы Распутину вздумалось «посоветовать» ответственное перед Думой министерство или назначить вместо Штюрмера премьер-министром Милюкова, «судьба его при дворе решилась бы очень быстро, несмотря на «святость», умение лечить наследника и т. п.». В этом остроумном замечании автора «Царизма накануне свержения» — ключ к «феномену Распутина». Если в данной системе кто-то и был на своем месте, так именно Григорий Ефимович. Как всякий уважающий себя фаворит, он в совершенстве знал психологию своих хозяев и говорил им от имени «высших сил» только то, что им хотелось слышать. Распутин олицетворял ту несуществующую Россию, которая составляла смысл политики и самой жизни для последнего Романова. Истерический мистицизм царицы и демонстративное «славянофильское народничество» царя определили специфический облик фаворита (в другом случае он был бы поинтеллигентнее), но не общее направление развития и не его трагический итог, ибо в полном соответствии с классической сюжетной схемой трагедии все, что бы ни делал царь Эдип во спасение, немину емо оборачивалось на погибель.



Другой вопрос: почему дворянско-бюрократическая элита не спасла монархию от ее главы? Аврех убедительно показывает, что после гибели Столыпина — Стилихона[1] Российской империи — в этой среде, механизм формирования которой можно определить словом «какогеника» (в противоположность «евгенике», науке о закреплении лучших признаков), не было и не могло быть людей, способных к решительным целенаправленным действиям. Заговор против Распутина представлял собой дешевый фарс на тему дворцовых заговоров XVIII века, начиная с плана, о котором Пуришкевич разболтал всему Петербургу, и кончая поведением великого князя Дмитрия после убийства, когда он плакал и клялся на образах в своей невиновности. И дело здесь не в фанатичной преданности царю, как ее формулировал Горемыкин в Совете министров,— раз воля помазанника проявилась, верноподданные обязаны ее буквально исполнять, «а там дальше воля Божья». Как только станет ясно, что бунт в Петрограде переходит в революцию, ни один из «верноподданных» генералов и сановников (кроме, пожалуй, старого генерала Николая Иудовича Иванова) не сделает даже попытки защитить любимого государя. Все они уже готовы служить «тварям» из Думы так же, как год назад служили пьяному хаму, заполняя его переднюю толпой просителей, сияющей орденами (так живо описанной Палеологом).

В начале века открывается и последняя глава «огосударствления» русской православной церкви. В начале этого процесса — сердечное согласие московского деспотизма, только что отвоевав-

[1] Стилихон — последний великий полководец античного Рима, которого предал в руки убийц император Гонорий, неоднократно спасенный Стилихоном от варваров.

Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) — русский государственный деятель, юрист. В 1880—1905 годах — обер-прокурор Синода. Имел исключительное влияние на императора Александра III.

Дмитрий Федорович Трепов (1855—1906) — московский обер-полицмейстер (1896—1905), с 11 января 1905 года — петербургский генерал-губернатор. Организатор вооруженного подавления революции 1905—1907 годов.

Федор Васильевич Дубасов (1845—1912), русский адмирал. В 1897—1899 годы командовал Тихоокеанской эскадрой. В 1905—1906 годах — московский генерал-губернатор, организатор разгрома декабрьского вооруженного восстания.



Ходок у депутата Государственной думы.

шего свой «суверенитет» у прародительского деспотизма Орды, с крупными церковными землевладельцами, так называемыми «иосифлянами» (от Иосифа Волоцкого, мрачного инквизитора, причисленного к лику святых). Условия исторического согласия заключались в том, что царская власть гарантировала «иосифлянам» неприкосновенность их богатств, а также и догматов от малейшего свободомыслия. В свою очередь церковь готова была благословлять всякую монаршую прихоть, как это делали во время империи римские жрецы. Первой жертвой стали «нестяжатели» — направление, сохранявшее традиции евангельского христианства. Отметим, что средневековое папство, при всей своей приверженности мирским благам, после долгих колебаний все-таки решило не осуждать учения св. Франциска и не запрещать нищенствующего монашества, дабы окончательно не подорвать среди мирян уважения и доверия к клиру[2]. Перед московскими иерархами такой проблемы, видимо, не стояло.

Неудачей закончилась и попытка реформации в XVII веке, предпринятая низшим и средним духовенством, поддержанная народом и направленная против тех же иерархов, а затем — небывалое дело на Руси — и против царской власти («Знание — сила», 1990 год, № 12). Во избежание подобных неурядиц «в сфере идеологии» Петр Великий ликвидировал всякую церковную самостоятельность.

Русские религиозные философы писали чрезвычайно интересные произведения, но реальную церковь олицетворяли не они, а Распутин, который начал свою карьеру именно с «упорядочения» духовных дел, и его собутыльники, портреты и биографии которых живописуют многие источники. Ознакомившись с тем, как происходила в начале века церковная карьера, невольно приходишь к выводу: нет, не на пустом месте возник в советское время Совет по делам религий! Даже наиболее яркие фигуры из духовенства того времени — Иоанн Кронштадтский, Георгий Гапон — несут на себе отпечаток общего повреждения нравов. Фактически под руководством К. П. Победоносцева и его прямых и закономерных наследников — распутинцев Саблера, Раева и прочих — официальная церковь, как дерево, изъеденное изнутри термитами, превратилось в омертвелую форму, не поддерживаемую и не питаемую никаким искренним религиозным чувством, потому-то она и рухнула так легко под ударами новых императоров-иконобор-

[2] Этот драматический конфликт необычайно ярко воссоздан Г. Эко в романе «Имя розы».



Распутин (в центре), слева — князь Путятин, справа — полковник Лошан.

цев[3]. Тем более эта мертвая форма не могла поддержать гибнущую старую династию и вообще как-то способствовать стабилизации и успокоению в обществе: какой здравомыслящий человек доверился бы в 1917 году милосердию и человеколюбию духовных пастырей, только что благословлявших мировую бойню?

Но если силы «старого режима» находились в столь очевидном разложении и параличе, то почему же русская буржуазия не сбросила их так же легко, как английская, совершив свою «славную революцию»? Почему не установила «нормальную», по европейским понятиям того времени, конституционную монархию с каким-нибудь не слишком выразительным дальним родственником Николая II на троне и умным премьером, тем же Милюковым, у руля государственного корабля? Ответ на этот вопрос выходит за пределы разбираемого нами исследования, но мы находим его в другой работе Авреха, также опубликованной после смерти ученого. Она так и называется — «Русский буржуазный либерализм» («Вопросы истории», 1989 год, № 2). Мастерски анализируя различные источники — от «идеологических» до статистических,— автор опровергает устоявшееся и кажущееся уже само собой разумеющимся представление о кадетах и октябристах как о политических партиях русской буржуазии.

По мнению Авреха, «запоздалое появление на свет делало ее мало конкурентоспособной не только на внешних, но и на внутреннем рынке, она нуждалась в покровительственных по-

[3] Иконоборчество в Византии было организовано императорами Исаврийской (Сирийской) династии при деятельной поддержке плебса, участвовавшего в разграблении церковных богатств.

шлинах, в политике «насаждения» промышленности сверху, активно проводимой царским правительством... Буржуазия очень медленно консолидировалась в класс, предпочитая своим общеклассовым интересам групповые, политике дальнего прицела политику сиюминутной мелкой выгоды» или, как писала в 1909 году газета «Слово», «выпрашивание и выжидание приема и благ в приемных у властей предержащих всех рангов». Подчеркивая самостоятельную роль интеллигенции в политике, Аврех оценивает кадетов как «на 90 процентов партию интеллигентов» (причем не буржуазного происхождения, поскольку поколение буржуазной интеллигенции еще не успело сформироваться), а октябристов как партию, хотя и связанную изначально с московской промышленной группировкой, но «быстро превратившуюся на три четверти в помещичью». Впрочем, автор сам оговаривает, что обе эти якобы буржуазные партии (и ряд других, еще более эфемерных), не опираясь на серьезную социальную базу, оставались малочисленными, совершенно не организованными дискуссионными клубами. «Союз 17 октября» вообще распался в 1913 году. Сами же по себе «представители промышленности и торговли», как то зафиксировано в документах их Совета съездов, в большинстве своем по уровню сознания были куда ближе к средневековым бюргерам, чем к европейской буржуазии. Хорошие отношения со «своим» подкупленным и подпоенным чиновником значили для них неизмеримо больше, чем «отвлеченные материи» типа ответственного перед парламентом министерства. Соответственно и лидеры легальной оппозиции, не чувствуя за собой никакой реальной социальной силы, не в состоянии были и бороться за власть по-настоящему. Можно сказать, что такое правительство и такая оппозиция создавали в целом устойчивую (до определенных пределов) экологическую систему. А пределы определялись тем, что никто из перечисленных не в состоянии был решать встающие перед обществом реальные проблемы, острота которых катастрофически нарастала. И уж тем более несостоятельны оказались русские либералы, годами оттачивавшие свое ораторское мастерство на разоблачении министров-маразматиков в бесправной Думе, в качестве правителей голодной, разбитой на фронтах, охваченной мятежами и «межнациональными конфликтами» огромной страны, где десять миллионов вооруженных мужиков не подчинялись уже никаким приказам. А в поединке с новыми энергичными и безжалостными лидерами, поднятыми на поверхность политической жизни революционной бурей, им суждена была и вовсе бесславная роль пушкинского Фарлафа.

Последняя сила, о которой не говорит Аврех в своем труде, но которая как бы незримо присутствует в темном углу, дожидаясь разрешения великого режиссера выйти на сцену и «сказать свое рабочее слово»,— это убежденные революционеры, подпольщики, социалисты, единственные, кто имел ум (чтобы понять происходящее) и волю (чтобы хоть что-то в нем изменить). На фоне сказанного выше понятно, почему «революционная карьера» была совершенно естественна для образованной молодежи того времени, не растерявшей присущего молодости идеализма и чувства собственного достоинства. Но следующий акт трагедии показал, что эти люди, такие точные и беспощадные в разоблачении монархической и либеральной мифологии, быстро исполнив то, что требовала страна (а недееспособное Временное правительство топило в болтовне), далее оказались не в состоянии предложить покорной им стране ничего, кроме... собственного варианта повести о рыцаре Ламанчском. Точно такой же миф,— разве что заимствованный не у Филофея, псковского инока XVI века, а из новейших европейских учений,— но столь же далекий от российской действительности. Дезертир, вернувшийся в родную деревню грабить помещика, был таким же «социалистом», как и «богоносцем».

Получается, что рок, о котором мы говорили в связи с личностью Николая II, втягивает в водоворот всех его современников. Туда же влечет и потомков, унаследовавших среди прочих средневековых идей принцип «оптовой ответственности» человека за грехи корпорации, удобный заменитель индивидуального разума и совести: «Все дворяне — паразиты!», «Мы на горе всем буржуям...», «Коммунистов — в клетку!».

Не знаю, какие практические рекомендации извлечем мы из опыта ошибок наших прадедов, исследованию которого посвятил всю жизнь А. Я. Аврех. Наверное, каждый свои. «Спасти нас может только немедленный роспуск КПСС и создание комитета национального спасения!» — пишет в «Аргументы и факты» читатель из Запорожья. Счастливый человек, он знает рецепт спасения! А я отметил бы для себя кое-что иное: избегать соблазнов упрощения. В жизни тот, кто попытается втиснуть хитросплетения причудливой кривой в элементарную линейную функцию, легко может пасть жертвой собственных расчетов. ●

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ



Съезд деятелей льняного дела в Москве

В первых числах января в Москве происходил съезд деятелей льняного дела. На съезд этот собралось до 200 человек льняных фабрикантов, техников, профессоров, земских деятелей и представителей различных казенных ведомств. При съезде была организована в высшей степени интересная и поучительная выставка изделий из льна: тканей, орудий производства и пр.

С давних пор Россия считается по праву страною льна. После ржи лен составляет одно из главных полевых растений, культивируемых нашими крестьянами. Лен — национальное русское растение, излюбленный народом злак, известный русскому народу еще со времен Гостомысла.

К сожалению, в прошлом столетии, с появлением хлопка и хлопчатобумажных, более дешевых фабричных изделий, льноводство в России стало падать. Правда, и теперь из России вывозится много льна за границу, и лен является одним из главных предметов нашей экспортной торговли; но в самом народе льняные материи почти уже не употребляются, вытесненные ситцами и дешевыми «набивками» — плохими, хотя и дешевыми, хлопчатобумажными материями.

Участники съезда говорили о необходимости укрепить и сохранить за льном его стародавнее национальное значение и сделать льняные материи предметом обихода в народе, удешевив и усовершенствовав их качества. Россия до сих пор была одета в безобразные ситцы и коленкоры. Съезд поставил своей задачей снова одеть ее в новые, красивые, прочные и несравненно более гигиенические ткани, приготовляемые из родного льна.

Журнал «Нива», 1911 год, № 7



Рисунки С. Деулиной

Перелет Петербург — Москва

Организованный Императорским Российским Аэроклубом перелет Петербург — Москва — колоссальный шаг вперед в нашей молодой авиации. Ведь всего только в прошлом году даже такой, сравнительно маленький и легкий перелет, как перелет между Петербургом и Кронштадтом, казался чем-то невозможным и невероятным.

В перелет Петербург — Москва записалось 12 авиаторов, но приняло участие 9 авиаторов. Большинство из них не достигло цели из-за различных неполадок.

Счастливее всех оказался А. А. Васильев. Но он заблудился в дороге и потерял 10—12 часов времени, сделал лишние 200 верст. Вылетев из Петербурга в 3 часа утра 10 июля, он опустился 11 июля в 4 часа 18 минут в Москве. При этом собственно в воздухе он пробыл лишь 8 часов, так как совершал в пути посадки из-за потери направления, а также нехватки бензина.

Журнал «Нива», 1911 год, № 30

Санкт-Петербургское общество борьбы с бугорчаткой

Одним из самых злых врагов человечества, несомненно, является бугорчатка (чахотка). Борьба с нею должна составлять задачу не одних только врачей, но и всего общества. Ввиду этого крайне желательно, чтобы отзывчивые люди откликнулись на призыв «Санкт-Петербургского общества борьбы с бугорчаткой» и оказали материальное и нравственное содействие этому симпатичному обществу, которое имеет свою амбулаторию в Петербурге (Преображенская, угол Бассейной, дом 46—27) и дачу для туберкулезных детей в Териоках. Теперь названное общество задумало устроить дачу-санаторию для взрослых где-нибудь поблизости от столицы и в хороших климатических условиях — например, в г. Луге. Но средств на это пока не имеется, и остается надеяться на общественную помощь.

Пожертвования принимаются в конторе газеты «Новое время», Невский пр., 40.

Журнал «Нива», 1910 год, № 21



Из Харбина в Петербург верхом

Казачка, вдова полковника Оренбургского казачьего войска, Александра Герасимовна Кудашева, 36 лет, совершает путь из Харбина в Петербург верхом на иноходце «Монголик» — светло-серой лошади восьми лет, взятой из косяка диких лошадей чистых монгольских кровей, роста 1 аршин 13 вершков. Она прибыла в Москву и находится в пути более тринадцати месяцев.

Журнал «Нива», 1911 год, № 28



Грегори Л. Фриз, профессор университета Брандейс

Церковь и власть. Политический спектакль?

Среди исторических и культурологических исследований, посвященных революционной ситуации в России в начале XX века, вряд ли мы иайдем такие, в которых предметом была бы культура вообще и религия в частности*. Как правило, существующая историография ищет истоки происхождения революционной ситуации либо в политических, либо в социально-экоиомических отношениях. Ее внимание приковано к противоречиям между партиями, социальиыми группами, классами. Отодвигается на второй план, а то и вовсе игнорируется аспект культурный. В лучщем случае он рассматривается как отражение более глубоких, более фундаментальных явлений.

В западной же историографии, и в этой работе в частности, основное внимание сосредоточено как раз на нем, на аспекте культурном. Речь идет не о литературе или живописи, в которых, конечно, революционный кризис нашел определенное отражение. В данном случае имеется в виду культура не в узком, злитарном, а в культурно-антропологическом смысле этого слова — как комплекс идей и ценностей, влиявший на восприятие действительности отдельным человеком или группой лиц.

К сожалению, до сих пор в исторической литературе недооценивали культуру как фактор, оказывавший большое влияние на восприятие, понимание и оценку современниками окружавшей среды и происходивших событий. Думаю, особенно важно понять именно это накаиуне падения царизма, так как прежде всего состояние общества должно определять нормы поведения и отношение к вопросу о существовании государственного строя. В этом изучении нельзя обойти религию, ибо религия составляла важнейшую часть традиционной политической культуры и вплоть до свержения царизма влияла и на политические дискуссии, и на государственную политику. Православие ие смогло способствовать интеграции религиозно-этнических меньшинств, скорее наоборот, но оно, безусловно, влияло на настроение и мышление широких слоев населеиия.

Способствовало ли православие политической стабильности в стране или подрывало ее? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что в начале XX века значение религии возросло. И не потому, что народ стал иабожнее, а потому, что царский режим лишился других традиционных основ своей легитимности.

Кроме религиозного фактора, в XVIII и XIX веках в представлении верноподданного обывателя законность существовавшего политического режима покоилась также на трех других основах: военной и политической мощи государства, его способности обеспечить благосостояние народа, а также на образе самого царя как «отца» своего народа. Эти три основы к концу XIX века во многом утратили свое значеиие. После поражения в Крымской войне международное положение России все чаще давало повод для недовольства в стране режимом и его некомпетентностью. Нараставший кризис в деревне и городе — голод и безработица, бунты и забастовки — служил явным доказательством того, что царизм не только не был в состоянии гарантировать благосостояние народа. но и сам служил причиной обнищания страны. Если многие из предшественников Николая II (от Петра Великого до Александра III) были в том или ином отношении яркими личностями или могли казаться таковыми, то у последнего императора не было таких данных. Ни физически, ни духовно он не соответствовал образу императора в послепетровской России, о чем свидетельствовали презрительные замечания в его адрес уже со дня коронации, характеризовавшие Николая II как «жалкого провинциального актера в роли императора, ему не подходящей» (записки Ф. А. Головина). Именно поэтому к иачалу XX века вопрос о «божественной легитимности» монархии приобрел новую значимость.

С целью сакрализации самодержавия проводился целый ряд мер, но наиболее сенсационной стала кампания каионизации святых. Если с конца XVII до конца XIX века было всего три канонизации, то в царствование Николая II их было шесть и велись приготовления ко многим другим. Теоретически успешная кампания причисления к лику святых религиозных героев должна была способствовать сближению самодержавия с народнорелигиозной культурой и готовности народа смириться с неудачами во внутренней и внешней политике.

Выяснить, насколько успешным было использование церковных служб, в частности канонизация, и способствовали ли они укреплению царской власти, — дело важное для понимания состояния общества перед революцией.

---

* Читателю предлагается краткое изложение доклада Грегори Фриза, сделанного в Ленинграде на Международном коллоквиуме «Рабочий класс и революционная ситуация в России в начале XX века». Полностью его доклад будет опубликован в журнале «История СССР».

Иллюстрация М. Малисова



Уличная сцена в провинциальном городке.

В. Борисов-Мусатов, «У беседки». 1905 год.

Прежде всего надо принять во внимание малограмотность населения, особенно в деревне, учесть значение святых в православии. Ведь своеобразный «духовный спектакль», сопутствовавший канонизации, мог иметь гораздо большее воздействие на народ, чем какие бы то ни было указы или распоряжения из центра. Канонизация могла оказать влияние и на знать, заставить ее по-новому взглянуть на социальные отношения, повысить духовный престиж царя, укрепить его связи с верующими разных сословий и классов.

Первым был канонизирован Серафим Саровский. Но противоречивость, существующая в реальной жизни и состоянии общества, отразилась и на ней.

Его канонизация была событием не только церковной жизни, но и событием гражданской истории и получила широчайшую огласку. И не только потому, что популярность самого Серафима тому способствовала, но и из-за личной роли самого императора в приготовлении и даже исполнении обряда прославления. Мало того, канонизация Серафима стала большим политическим событием, в котором участвовала не только знать. Торжественные обряды в Саровской пу́стыни привлекли огромную массу народа, особенно из низших слоев населения, создав представление о единстве царя с народом, стекавшимся в Сарово из всех уголков страны. «Стечение богомольцев в Саровскую пустынь с каждым днем возрастает в усиленном размере,— сообщали в июле 1903 года «Церковные ведомости»,— идут отовсюду — и из Сибири, и с Кавказа, и из разных других близких и дальних местностей России». Хотя церковные круги пытались подчеркнуть чисто духовное значение этого прославления, либо говорили о нем как о выражении народной набожности или контрударе против «колебания умов», большинство светских комментаторов и отдельные представители духовенства прежде всего видели политическую символику в том, что в Сарове произошло. И это, безусловно, справедливо.

Уже только потому, что это — политический спектакль, следует отнестись критически к официальной версии об «умилительном единении царя с народом». Но есть и другие основания считать, что церемониал в Сарове не произвел желаемого эффекта на простой народ. Тот факт, что культ Серафима после его знаменательного прославления вдруг перестал играть роль в политической жизни страны, совсем не случаен. По каким-то причинам его канонизация не вызвала желаемого резонанса и не оказала воздействия на политическую культуру. Почему же?

Выбор главного действующего лица — Серафима — оказался спорным.

Он был простым иеромонахом, пятнадцать лет жил один в лесном скиту, потом, после того как монастырское начальство заставило его вернуться в монастырь, строго соблюдал обет молчания еще пять лет. Эти подвиги заняли первое место в житии и дали ему право на приобретение статуса «старца», обязанного давать духовные советы и светским, и духовным лицам. Аскетизм, «истинно христианская подвижническая жизнь», прозорливость и пророчество сблизили Серафима с традиционным народным типом духовного наставника. Не происхождение, не образование и церковный ранг, а духовность его старчества определила облик и вызывала общее признание и уважение.

Однако случилось непредвиденное. Серафим умер в 1833 году, и к 1903 году тело истлело, что само по себе совершенно естественно. Однако именно нетленность мощей, хотя по каноническому праву и не была обязательным условием для прославления, считалась среди простого народа необходимым признаком святости. Кроме этого, само исполнение замысла сопряжено было с большими трудностями. Саровская пустынь была расположена далеко от городов и оторвана от транспортной сети, поэтому светские и церковные власти были вынуждены принять экстренные меры, чтобы обеспечить паломников транспортом, жильем и питанием во время канонизации. Нужно было приготовить временное жилье для многотысячной толпы, ибо, по предварительным оценкам, ожидались сто тысяч приезжих. Неудивительно, что Победоносцев негодовал по поводу непомерных расходов, связанных с канонизацией Серафима, а понадобилось около ста пятидесяти тысяч рублей.

Но специальные приготовления к канонизации не уничтожили барьеры — ни культурные, ни социальные,— отделявшие знать от «простого народа». Наоборот, они стали еще более очевидными в узком микромире Сарова. Рядом с роскошными гостиницами стояли бараки, рядом с караванами блестящих карет императора и элиты шли простые паломники — сотни верст пешком по нестерпимой жаре. В Сарово, сообщало «Новое время», идут «...больные, убогие, слепцы, глухие, хромые; иных везут, иные ползут... И сколько грустного и ужасного в этой толпе! Как велик мир несчастий человека! Какое огромное количество больных и недужных, калек, слепых, глухих, дурачков, юродивых, расслабленных, припадочных, душевнобольных. Тут встретите все несчастья, какие можно себе представить и какие невозможно». В Сарове не хватало ни жилья, ни питания. Многим приходилось ночевать под открытым небом или в шалашах. Вся Россия читала о внезапном голоде в Сарове: «Хлеба негде купить, все просят хлеба, не денег; ни в монастыре, ни в окрестностях нет хлебных запасов» («Новое время», 18 июля 1903 года).

Торжества не превратили Саровскую пустынь в национальную святыню, несмотря на большие усилия со стороны властей. И царскому правительству не удалось использовать канонизацию в интересах укрепления своего духовного авторитета.

То же самое произошло и при канонизации Гермогена. С той лишь разницей, что инициатором этого события стало духовенство. Церковные власти начали кампанию в честь Гермогена, который вдруг в 1912 году оказался в центре внимания в связи с трехсотлетием со времени его «мученической кончины» в борьбе с польскими «захватчиками». До этого Гермоген не пользовался особенной популярностью, несмотря на то, что нетленность его мощей многократно была подтверждена, в последний раз — в 1883 году. Но за год до прославления Гермоген, символизировавший русский национализм и борьбу со «смутой», стал объектом поклонения паломников, распространивших известие о более чем двухстах исцелениях. Если процесс приготовления к канонизации других длился годы, даже десятилетия, в случае с Гермогеном Святому синоду понадобилось всего лишь несколько месяцев.

Облик Гермогена, обрисованный церковной властью, заслуживает особого внимания, ибо в нем легко угадываются мотивы и цели канонизации патриарха. Прежде всего церковная публицистика подчеркивала его общенациональное значение — могила Гермогена привлекала к себе богомольцев «со всех концов России». Далее делался упор на то, что Гермоген воплощал русскую народность, что он был не только патриархом, но и «типичнейшим русским человеком». Но прежде всего церковная печать обрисовала Гермогена как символ церковности, теснейшим образом связанной с народом. Это, пожалуй, самое главное. Сплотить народ вокруг церкви, а вернее, представить его сплоченным на примере этой канонизации — вот основная цель, которая преследовалась церковью. Церковь не стеснялась говорить о своей центральной роли в русской истории, часто без упоминания о доме Романовых, сократив известную формулу «самодержавие, православие и народность» за счет первого слова. Хотя именно в это время шли грандиозные торжества в честь трехсотлетия династии Романовых.

Интересно, что для церковных кругов главная черта Гермогена — это не его народность или патриотизм, а статус всероссийского патриарха. Следует иметь в виду — с конца XIX века православная церковь упорно добивается восстановления патриаршества. Этот вопрос, поднимавшийся и ранее, с начала XX века стоял в повестке дня практически всех церковных дискуссий и открыто обсуждался в печати и в официальных церковных комиссиях. Правительство, естественно, не проявляло симпатии к таким замыслам и в связи с этим нарочно откладывало созыв поместного собора. Государству не могли нравиться стремления церкви к автономии, к ограждению себя от светского вмешательства и в первую очередь со стороны обер-прокурора. Но формально оно не отказывалось от требований общецерковного преобразования (включая восстановление патриаршества) и тем самым давало повод к надеждам и ожиданиям в церковных кругах. В 1913 году, например, распространились слухи о том, что канонизация Гермогена может послужить поводом для назначения нового патриарха, как бы в память той роли, которую церковь играла при вступлении на престол новой династии.

Крестный ход. 1907 год.



Само прославление состоялось в Москве и, по утверждению церковной печати, вызвало «подъем народной веры». Мало того, церемониал в Кремле символизировал новый союз церкви и народа. «В Кремле много народа,— сообщало в мае 1913 года «Новое время».— Здесь, в Успенском соборе, где находится гробница патриарха с лампадами возле нее, центр торжественного поминовения, собор полон. Сколько тут простых людей из разных концов России! Старики с котомками и хохлушки с темно-пестрыми платками, точно обручами на головах, военные и штатские, тесно, жарко».

Император, который играл центральную роль в прославлении Серафима, на этой канонизации не присутствовал. Было ли это связано с намерением церкви восстановить институт патриаршества и ограничить тем самым императорскую власть? Известно только, что Николай оказался под влиянием своих государственных советников, рекомендовавших ему не подчеркивать узкоконфессиональные симпатии. К кануну первой мировой войны Николай II стал уклоняться и от прямого участия в официальных церковных торжествах. Это не только отражало растущую напряженность в отношениях между церковными кругами, но и демонстрировало процесс обоюдного отчуждения между самодержавием и официальной церковью.

Итак, не было единения народа с самодержавием, не было единения и самодержавия с церковью. Последние годы царизма отмечены кризисом не только в государстве и обществе, но и в русской православной церкви. После канонизации Гермогена стало понятно, что даже самые консервативные представители духовенства стали искать выход из сложившейся ситуации и бороться за интересы и самостоятельность церкви. Если до начала первой русской революции расхождение интересов церкви и государства становилось все более очевидным, то период думской монархии был насыщен нескрываемыми конфликтами между ними. Прения в Государственной думе и Государственном совете, неустойчивость и противоречия в государственной политике по отношению к православной церкви — все это заставило ее представителей выступать активно в защиту своих интересов (что и было главным, побудившим духовенство к участию в выборах в IV Думу). В первую очередь церковь отстаивала status quo, отвергая разнородные проекты Думы и государства, в которых предлагались изменения в области начального образования, бракоразводной системы, изменения в календаре и самом духовном ведомстве. Саботируя такие проекты, духовенство постепенно отделялось от разных светских группировок в Думе и тем самым способствовало разложению думской системы.

Еще более важным было влияние церкви на политическую культуру. Комплекс ценностей, норм поведения и идеалов групповой организации, выработанный к тому времени церковью, коренным образом отличался от традиционного. До середины XIX века церковь воспринимала и пропагандировала политическую культуру русского абсолютизма, то есть его принципы — самодержавие, единоначалие и централизацию; и методы управления — бюрократизм, формализм, и нормы подчинения и безгласности. Но начиная с реформы, церковь постепенно стала развивать иные политические идеалы, выраженные в слове «соборность». Это была многогранная концепция, допускавшая самые разные толкования — от епископского консерватизма до леводемократического обновленчества. Но все виды «соборности» в корне представляли собою уход от доминирующей политической культуры, ибо они требовали большую или полную самостоятельность церкви и заменяли принцип единоначалия идеалом коллективности (то ли епископов, то ли всех верующих, включая мирян).

Нетрудно было заметить: программа церковных преобразований, пользовавшаяся широкой популярностью среди духовенства и мирян, не могла не вызывать ассоциаций со светским движением за демократизацию страны. Какую бы форму — то ли епископскую, то ли более демократичную, обновленческую — эта программа ни приобрела, совершенно новое представление о «церковности», при всех ссылках на «древнюю церковь», неизбежно сближалось с теми демократическими процессами, которые имели место в светской политике тех лет. Правда, само духовенство избегало разговоров о таких связях либо из-за своей кастовой сословности, либо из-за боязни спровоцировать государственное вмешательство в жизнь церкви. Тем не менее аргументация в пользу соборности и демократизации церкви едва ли отличалась от аргументации в пользу демократизации общества, появлявшейся в тогдашней светской литературе.

В то время, когда церковь стала отходить от самодержавных политических идеалов, сам император приближался к «неформальной» религиозной культуре, уделявшей больше внимания духовности и отвергавшей «сухую нормативность» официального православия. Именно кризис в отношениях между православием и самодержавием объясняет феномен Распутина. При всей ее сенсационности и несмотря на многочисленные попытки разобраться в распутинщине, она еще мало изучена и, как правило, рассматривается лишь как отражение «мистицизма» дворцовых кругов, без малейшей связи с общими культурно-религиозными вопросами того времени. Но надо более серьезно рассмотреть эту тему и определить социально-культурную значимость Распутина, то есть выявить те моменты, которые придали особое значение «старцу» из Сибири. Более важную роль, чем способность помогать больному цесаревичу, думаю, сыграл духовный облик Распутина, благодаря которому он стал символом народной набожности, в противопоставлении официальной церкви.

Именно старчество было главным в образе Распутина. Показательно, что с самого начала он претендовал на статус «старца», подобного Серафиму, и тем самым приобретал доверие светской знати (и презрение духовенства). В своих автобиографических высказываниях Распутин говорил о своей жизни как о жизни старца, подчеркивая пережитые им испытания, отвержение мирского, паломничество и личное знакомство с настоящими старцами и их уважение к себе. Такой облик, выдуманный или нет, произвел большое впечатление на его обожателей, которые отвергли слухи о сексуальных скандалах и признавали его настоящим старцем, ссылаясь на уважение к Распутину со стороны известных старцев. Сторонники Распутина также утверждали, что «старец» пользовался поддержкой «простых людей», и это только усиливало его авторитет среди придворных кругов. Сочетание старчества и народности в облике Распутина широко пропагандировалось близким к нему журналистом Г. П. Сазоновым. «Прошедши тяжкий, крайне суровый стаж, измозжив тело и закалив дух, Григорий,— писал о Распутине Сазонов,— пошел странствовать по святым местам. Киев, Троице-Сергиев, Валаам, Почаев, Оптина пустынь, Нилов, Святые горы и т. д. обошел он пешком вплоть до Афона и Иерусалима. Вместе с тем Григорий не терял связи с землею и в рабочее время вел хозяйство».

Следует иметь в виду, что казенное православие отталкивало своей сухостью в первую очередь знать. Распутин же своей духовностью производил впечатление человека, противостоящего казенщине православия. Независимо от того, насколько велико было влияние Распутина на государственную политику в предвоенные годы, он, безусловно, играл заметную роль в духовной жизни императорской семьи. Сам Распутин описал свое положение в царском дворце так: «Царь меня считает Христом. Царь, царица мне в ноги кланяются, на колено перед мною становились, руки целовали». Если церковь и общественность видели в Распутине полную противоположность старчеству, то Николай II нашел в нем живую связь и с Всевышним, и с народом.

Одновременно Распутин сознательно противопоставил себя официальной церкви и в особенности ее руководителям, обвиняя их в бюрократизме. «Нужны искренние слуги,— заявлял Распутин.— А у нас много чиновников... И в церковь они прошли... По букве закона. За карьеру цепляются. Все забывают ради чинов и орденов... Не такие спасут. Спасут праведники. Патриарх нужен... Настоящий угодник... А не какой-нибудь чиновник». Мало того, он пытался оказать влияние на церковную политику. В результате духовные лица относились к нему очень критически и даже враждебно. И конечно, приближение Распутина к царской семье и его власть над ней церковь раздражали. Это приближение увеличило отчуждение церкви от государства. В канун мировой войны духовенство перестало смотреть на государство как на надежного покровителя. Наоборот. Конфликт между церковью и государством перед первой мировой войной привел к обострению их взаимоотношений. Такое же обострение обозначилось и в отношениях между государством и обществом.

Народ, власть и церковь находились в том состоянии, когда действие центробежных сил было определяющим. Эти силы относили их друг от друга как раз тогда, когда более всего требовалось согласие и единение. ●

Николай II с семьей.

Л. Бакст. Портрет З. Гиппиус.

Ф. Степун

Бывшее и несбывшееся

из воспоминаний

...В сердце не убить веры, что, не случись войны, Россия могла бы избежать революции; пробужденная в 1905 году революционная энергия начала в эпоху Третьей думы быстро сливаться с созидательным процессом жизни.

Как в межфронтовой полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась насущная картошка, так и в России накануне Великой войны наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве, как-никак добытой 1905 годом свободы, вырастала какая-то новая, с году на год все крепнувшая жизнь.

Москва росла и отстраивалась с чрезвычайной быстротой. Булыжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал. Когда керосиновые фонари уступили место газовым, я так же не могу сказать, как и того, с какого года газовое освещение стало заменяться электрическим. Помню только, что молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть. Уходили в прошлое милые конки с пристегом где одной лошаденки, а где, как, например, на Трубной площади или под Вшивою горкою, и двух уносов. Становились преданием парные разлатые линейки, что в мои школьные годы ходили в Петровский парк и Останкино, может быть, и на другие окраины — не знаю.

Всюду, как грибы после дождя, вырастали дома. Недалеко от Красных ворот забелела одиннадцатиэтажная громада дома Орлика. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта. В тылу старенького Училища живописи, зодчества и ваяния взгромоздились высокие корпуса с квартирами-студиями. На плоской крыше многоэтажного дома Нирензее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафе. Особенно быстро преображалась «улица святого Николая», интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься — что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей.

...Провинция преображалась, пожалуй, еще быстрее Москвы. У нас в Московской губернии шло быстрое перераспределение земли между помещиками и крестьянством. (Известно, что накануне революции в распоряжении крестьянства находилось уже больше 80 процентов пахотной земли.) Подмосковные помещики, поскольку это не были Маклаковы, Морозовы, Рейнботы, беднели и разорялись с невероятною быстротою; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяческим промыслом: многие извозничали в Москве, многие жгли уголь, большинство же зимою подрабатывало на фабриках. Большой новый дом под железною крышею, две, а то и три хорошие лошади, две-три коровы — становились не редкостью. Заводились гуси, свиньи, кое-где даже и яблонные сады. Дельно работала кооперация, снабжая маломочных крестьян всем необходимым: от гвоздя до сельскохозяйственной машины.

Под влиянием духа времени и помещики все реже разрешали себе отказывать крестьянам в пользовании своими молотилками и веялками. Ширилась земская деятельность. Планомерно работал земский случной пункт под надзором двух дельных ветеринаров, к которым я часто ездил в гости. Начинала постепенно заменяться хорошею лощадью мелкая, малосильная лошаденка — главный старатель крестьянского хозяйства. Улучшались больницы и школы, налаживались кое-где губернские и уездные учительские курсы. Медленно, но упорно росла грамотность.

Исчезли пригородные кварталы, в которые нужно было ходить со своим фонарем; даже в небольших провинциальных городах начало появляться электрическое освещение. Появились автомобили, которым в иных захолустных городах приходилось выдерживать атаки возвращающегося с поля стада. Помню рассказ о позорном водворении такого пионера культуры на двух волах в ближайший пожарный сарай какого-то уездного украинского города.

Юг развивался быстрее центра. В Херсонской губернии вместо привычных ярмарок начали ежегодно устраиваться сельскохозяйственные выставки, которые с большим интересом посещались крестьянами. Мне рассказывали, что на одной из таких выставок можно было выиграть в лотерею верблюда, подаренного выставочному комитету передовым помещиком в качестве особенно сенсационной рекламы нового дела. В Николаеве, где я читал дважды перед очень живой аудиторией, значительная часть вывоза хлеба уже велась кооперативами. Украинские деревни, опасаясь пожаров, начинали покрываться черепицею, великорусские — железом. Не только в уездных городах, но и в больших селах начали появляться женские и мужские прогимназии.

Наряду с ростом хозяйственного благополучия росла и культурная самодеятельность. Расширялась сеть провинциальных театров, учащались разъезды по большим провинциальным городам столичных актеров, писателей и лекторов. В городах с большою примесью еврейского населения стали появляться частные музыкальные школы. Перед самой войной по югу России разъезжал со своим оркестром учитель математики из Александрии Ахшарумов, исполнявший, впрочем, кажется, довольно плохо симфонии Моцарта, Гайдна и Бетховена.

Широкие круги трудовой провинциальной интеллигенции, не исключая и «хорошо грамотных» рабочих, вовсе не были в такой мере и степени захвачены исповеднически-политическим пафосом, как то казалось партийным «властителям дум». Помню, как я был удивлен тем, что страстные споры, кипевшие одно время в Москве вокруг покаянного сборника «Вехи», совсем не интересовали провинцию. Провинциальные представители свободных профессий, земские деятели, народные учителя и учительницы не чувствовали себя виновными ни в «народническом мракобесии» (Бердяев), ни в «сектантском изуверстве» (Франк), ни в «общественной истерике» (Булгаков), ни в «убожестве правосознания» (Кистяковский), ни в «бездонном легкомыслии» (Струве). Но и Мережковского, гневно обрушившегося на «веховцев» рядом по существу кое в чем правых, но по тону и стилю уж очень плакатно звонких статей, они своим призванным защитником не признали бы. Вся эта горячая полемика шла лишь по столичным верхам.

Читающая и думающая провинция была, как мне кажется, не только не более отсталой, чем передовая столичная интеллигенция, но в известном смысле и здоровее ее. Она явно тянулась к хорошей, солидной книге и питательной научно-популярной лекции. По собственному опыту могу сказать, что небольшие, хорошо построенные курсы на такие темы, как «Введение в философию», «История греческой философии», «Россия и Европа, как проблема русской философии истории», «Основные проблемы эстетики Возрождения», имели в Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах не только не меньший, но скорее больший успех, чем отдельные миросозерцательные, остро публицистические лекции.

Еще десять — двадцать лет дружной, упорной работы — и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа и ненародностью образования», в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни. К величайшему, лишь в десятилетиях поправимому несчастью России, этот оздоровительный процесс был сорван большевистскою революцией...

...Широкая просветительно-педагогическая деятельность Москвы была, как оно всегда бывает, лишь одним из проявлений господствовавшего в столицах горячего, творческого подъема. Вспоминая те времена, удивляешься, с какою легкостью писатели и ученые находили и публику, и деньги, и рынки для своих разнообразных начинаний. Одно за другим возникали в Москве все новые и новые издательства и журналы. Одним из первых органов новой, аполитичной мысли возникли «Весы», издаваемые и редактируемые выбившимися из колеи отпрысками серокупеческих, московских родов — Поляковым и Брюсовым. Богатейший меценат Поляков был по внешности типичным, неряшливо одетым интеллигентом, с лицом, живо напоминавшим Достоевского. Брюсов же иногда выглядел форменным лабазником. Люди его внешности часто встречались за кассами охотнорядских лавок. В барашковой шапке и с фартуком поверх шубы, они с молниеносною быстротою подсчитывали на счетах огромные суммы за забранные московскими хозяйками товары.

В пику «Весам», находившимся под односторонним влиянием французских символистов, зародился на Пречистенском бульваре, против памятника Гоголя, определенно германофильский «Мусагет»; тут царствовали тени Гете, Вагнера и немецких мистиков. Главный редактор «Мусагета» Эмилий Карлович Метнер, брат знаменитого композитора, подписывал руководимый им отдел «Вагнериана» псевдонимом Вольфинг.

В противовес обоим европейским, но отнюдь не западническим, в старом смысле этого слова, издательствам, сразу же выдвинулся на старые, но заново укрепленные славянофильски-православные позиции морозовский «Путь» с Булгаковым, Бердяевым и Трубецким в качестве редакторов и главных сотрудников. Позднее, уже, кажется, перед самой войной, появились в витринах книжных магазинов необычно большие желтые обложки «Софии», богато иллюстрированного, роскошного журнала, ставившего своею задачею ознакомление русской публики с Россией 14-го и 15-го веков, «более рыцарственной, светлой, легкой, более овеянной ветром западного моря и более сохранившей таинственную преемственность античного и первохристианского юга». Наряду с этими, во всех отношениях высококачественными, идейными издательствами и журналами, начали появляться и более конъюнктурные органы — купечески-модернистическое «Золотое руно», формалистически выхолощенный петербургский «Аполлон» и, наконец, «На перевале», орган первой встречи старого натуралистического искусства с новым, модернистским.

Все эти издательства и журналы, не исключая даже и последних, не были, подобно издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они осуществлялись творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого, меценатствующего капитала. Поэтому во всех них царствовала живая атмосфера зачинающегося культурного возрождения. Редакции «Весов» и «Мусагета», «Пути» и «Софии» представляли собою странную смесь литературных салонов и университетских семинарий. Вокруг выдающихся мыслителей и выдвинувшихся писателей здесь собирался писательский молодняк, наиболее культурные студенты и просто интересующаяся московская публика для заслушивания докладов, горячих прений по ним и ознакомления с новыми беллетристическими произведениями и стихами.

В годы этой дружной работы облик русской культуры начинал видимо меняться. Провинциальная психология старотипного русского интеллигента, воспитанного на Чернышевском и Михайловском, начала постепенно перерождаться...

...Что говорить, не все обстояло благополучно в этом подъеме русской культуры. В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка, в котором под иконами Рублева и панно Врубеля бесконечно обсуждались идеи «Пути» и «Мусагета», но и попахивало тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их. Не только революционерам, но и умеренным либеральным деятелям приходилось туго: всякого народного учителя поинтеллигентнее, всякого священника, не водившего дружбы с урядником, норовили перевести в город без железной дороги. Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет. ●



М. Добужинский, «Окно парикмахерской», 1906 год.

К. Сомов, «Магия», 1898 (?)

А. И. Гучков.

Русская деревня 1900-е годы.

Императрица Александра Федоровна с сыном Алексеем.

Пристань на Волге в 1900-е годы.

ПОЧТИ СОСТОЯВШИЙСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Мы привыкли гордиться своей культурной революцией: советская власть ликвидировала безграмотность миллионов трудящихся, создала мощную систему высшего образования, открытую каждому, сделала нас самой читающей страной мира. При этом, как мы запомнили еще со школы, царская Россия предпочитала держать свой народ в темноте и невежестве, царские бюрократы всячески ущемляли независимость университетов и жалели денег на науку. Именно так писала хроника «Культурная жизнь в СССР», два тома которой вышли в издательстве «Наука» в 1975 году. И тут есть правда. Но не вся. О чем и напомнил С. Федоров в своей рецензии на хронику, опубликованной в историческом сборнике «Память», выходившем в семидесятые — восьмидесятые годы в Париже (не путать ни в коем случае с одноименным обществом). Мы публикуем отрывок из этой рецензии.

С. Федоров

И в частности — о высшей школе

Какой явится нам высшая школа предреволюционного десятилетия? Вот детали вырисовывающейся картины.

Увеличение вдвое-втрое числа студентов как в целом по стране, так и в ведущих учебных заведениях.

При сохранении ведущей роли гуманитарного, особенно юридического, образования — бурное развитие технического, сельскохозяйственного, экономического («коммерческого»).

В Петрограде перед Октябрем — больше 50 высших учебных заведений. Рекорд побьют — тоже ненадолго — только в начале тридцатых годов, когда факультеты превратят в отдельные институты и в список внесут вечерние комвузы разных районов города.

Досоветская высшая школа — в громадной степени продукт частной и общественной инициативы. Негосударственной была половина петроградских вузов.

Около тридцати высших женских курсов (ВЖК), открытых в предоктябрьские годы (за «пятилетку» 1906—1910 их количество утроилось), ориентировались на университетские программы, постепенно получали университетские права и к старым возможностям (медицинское, педагогическое образование) прибавили новые (техническое, сельскохозяйственное, юридическое и пр.). В большую часть общественных и частных вузов женщин принимали наравне с мужчинами. Государственные плотины (новый временный запрет на прием женщин в казенные университеты) не могли сдержать потока, уходившего в неконтролируемые правительством русла. Удельный вес женщин в составе российского студенчества (в столице — 37,2 процента в 1913—1914 учебном году, а потом, вероятно, еще больше) был одним из наиболее высоких в мире.

Противодействие высшей школы давлению государственной машины было массовым и гласным. Еще 4 января 1905 года появилась записка «Нужды просвещения», подписанная первоначально 342 учеными (потом число подписей возросло до 1800).

«По самому характеру своего призвания высшая школа должна подготовлять деятелей, сознательно и правдиво относящихся к окружающей действительности; между тем необходимая для осуществления этой ответственной задачи свобода исследования настолько отсутствует, что даже чисто ученая и преподавательская деятельность не гарантирована от административных воздействий».

«...в наших высших учебных заведениях установились порядки, стремящиеся из науки сделать орудие политики».

«Целым рядом распоряжений и мероприятий преподаватели высших школ низводятся на степень чиновников, долженствующих слепо исполнять приказания начальства. При таких условиях неизбежно понижение научного и нравственного уровня профессорской коллегии...» («Русь», 1905 год, № 20).

Высшая школа добилась автономии, которая уже в 1906 начала приносить богатые плоды. Стоит только иметь в виду, что кое-каких свобод тогда не нужно было и требовать: еще в XIX веке университеты имели право беспошлинного провоза научной литературы из-за рубежа без вмешательства цензуры.

Протестуя против нарушения университетской автономии, в 1911 году свыше сотни профессоров и преподавателей Московского университета — почти треть общего состава — покинули университет. И смотрите: ушедшие не только не были изъяты из общества, но сразу нашли в нем новые точки приложения своих сил: на собранные подпиской и пожертвованиями 2,5 миллиона организовали независимый Московский научный институт! Кругом было открытое сочувствие им, даже чествование. Леденцовское общество помогло П. Н. Лебедеву создать новую лабораторию. Университет Шанявского счастлив был принять под свой кров Н. К. Кольцова, П. Н. Лебедева, П. П. Лазарева, Г. В. Вульфа...

Пожертвования и отчисления в пользу высшей школы росли и множились. Пермский университет не возник бы (да еще три факультета сразу), не отвали ему Н. В. Мешков от своих миллионов.

Общество для доставления средств ВЖК давало Бестужевским курсам около трети их бюджета (1916—1917 годы). Материальный актив Общества еще в начале века перевалил за миллион рублей.

В 1907 году издатель П. П. Сойкин подарил В. М. Бехтереву по его просьбе средства на строительство Психоневрологического института. Впрочем, к Бехтереву и без просьб стали стекаться сказочные суммы, когда была объявлена программа будущего ПНИ: поставив в центр внимания комплексное изучение человеческой личности, он должен был давать слушателям, преимущественно с высшим образованием, знания по психологии и неврологии, причем пол, вероисповедание, неблагонадежность не должны были мешать поступлению на его учебные курсы (курсы открыты в 1908 и быстро выросли в Частный университет — третий официально признанный университет столицы).

В 1908 Московская городская дума открыла Университет имени А. Л. Шанявского. За 1909—1917 годы университет получил пожертвований на миллион рублей с четвертью (это не считая двухмиллионного бюджета университета).

Завоевав признание, негосударственные институты добивались государственной поддержки. Основанный В. П. Зубовым Институт истории искусств быстро прошел путь от библиотеки по западному искусству в доме двадцатипятилетнего графа (1910) к исследовательскому институту (1912) и далее от организации курсов при нем (1913) к получению прав высшего учебного заведения (1916). Бюджет нового учебного заведения на 20 процентов составился из средств его учредителя, на 25 процентов — из средств учащихся, остальная доля приходилась на казенные субсидии.

Плата за ученье была очень разной, вплоть до символической (научно-популярное отделение Университета Шанявского, хоровые классы Московской народной консерватории). В Психоневрологическом от платы за лекции освобождал совет студенческих землячеств, в Бестужевке — совет профессоров (он же ежегодно выбирал закрытой баллотировкой лучших слушательниц, направляемых после окончания ВЖК за границу). Учреждено было множество именных стипендий.

Материальная поддержка студенчества осуществлялась через повсеместно возникавшие общества помощи нуждающимся студентам, кассы взаимопомощи, землячества. Объявление столовой комиссии в Психоневрологическом гласило:

«Как и в прошлом академическом году, беднейшие студенты института могут пользоваться в столовой бесплатными завтраками и обедами».

Плата же за ученье часто была платой за выбор независимого пути: захоти сегодняшний студент составить себе личный план учебы — он не найдет такой возможности, открывавшейся в былые времена, ни за какие деньги. (Послеоктябрьская бесплатность образования для неимущих шире открыла им путь в науку на первых порах. Но не способствовала ли эта бесплатность в будущем более отдаленном — в нашем настоящем — понижению места знаний в системе жизненных ценностей большинства?)

Как бы то ни было, высшая школа становилась все более доступной. Университет Шанявского, поставивший целью «привлечение симпатии народа к науке и знанию», с его отсутствием формальных ограничений для идущих в Университет (никаких свидетельств и проверок: основной контингент — подготовившие себя самообразованием), с разными группами его научно-популярного отделения (за четыре года давали знания в объеме средней школы или за два года готовили к учебе на академическом отделении: прообраз рабфаков, никогда не превзойденный

---

* Из книги «Память». Исторический сборник. № 5, 1982 год.

ими), с вечерними занятиями (чтобы смогли и работающие) и постепенным снижением платы за лекции (целью была полная ее отмена),— это наиболее известный, но далеко не единственный пример демократизации состава высшей школы.

На Петроградских (Бестужевских) ВЖК в 1912 году дочери дворян, военных и гражданских чинов составляли чуть больше трети всех курсисток.

«Каждый, кто имел соприкосновение с Московским университетом, хорошо знает, что главная масса его студентов набирается из недостаточных слоев нашего общества. Распределение наших студентов по сословиям прямо показывает, что не вершины нашего общества доставляют основной контингент университетских питомцев» (А. И. Чупров, 1907).

Взаимная несхожесть дооктябрьских университетов и институтов была связана как с накоплением традиций (Александровский лицей, Лазаревский институт), так и с новыми разнообразными поисками в условиях автономии высшей школы, демократизации ее порядков, гласности, широкой частной и общественной инициативы: вузы создавались, например, Докучаевским почвенным комитетом, Императорским обществом востоковедения, Товариществом инженеров в Петербурге, Саратовским санитарным обществом, Донским обществом содействия высшему женскому образованию, Фребелевскими обществами и т. д.

Среди многих находок и поисков предреволюционной высшей школы можно назвать предметную систему, которая с 1906 года начала вытеснять прежнюю курсовую систему с ее обязательной последовательностью, стандартными сроками учения: уменьшалось число обязательных предметов, давалось право посещать лекции по любым предметам и по тем же предметам подвергаться экзаменам, предоставлялась свобода в последовательности выполнения учебного плана, вводилось свободное расписание без контроля посещаемости. При наличии рекомендованных циклов слушатель получал право составить свой цикл — свою личную программу учебы в высшей школе.

Создавались институты, одновременно и в равной степени научно-исследовательские и учебные (Психоневрологический, Институт истории искусств).

Появились новые профили подготовки (библиотечно-библиографический, кооперативный, история искусств), новые комбинации специальностей (школьные руководители, эксперты, педагоги и школьные врачи в Педагогической академии Лиги образования), новые принципы построения учебных планов: на Высших курсах при Биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта и в Частном Петроградском университете отважились предварить специальное (как гуманитарное, так и естественное) образование двумя годами широкой подготовки, обнимающей гуманитарные и естественные науки и помогающей самопознанию и самоопределению студента; на специализированных следующих курсах Частного университета при ПНИ перед профессорами ставилась задача не излагать «весь предмет», а знакомить слушателей, приобретших общее развитие и навыки работы, с основными проблемами науки. Бехтеревский университет ставил перед собой цель «подготовлять не рабов, по рецепту господствующего строя жизни, а настоящих хозяев этой жизни». Одновременно делалась попытка вернуть университетскому преподаванию изначальное, давно забытое единство — и тем вооружить университетских питомцев против дегуманизирующих тенденций дифференцирующегося, профессионально сужающегося знания.

Активно поощрялось получение второго или третьего высшего образования, что поднимало уровень ведущего ядра интеллигенции и отвечало перспективным запросам наступившего века с его точками бурного роста знания на стыках наук. Обладателей дипломов зачисляли в первую очередь, освобождали от конкурсных экзаменов, принимали на пятый семестр. Только их набирал Педагогический институт имени П. Г. Шелапутина. Он был невелик, этот институт,— выпускников его, ежегодно собиравшихся на педагогический съезд, не набралось много за несколько предреволюционных лет. Но такие вот горстки поднявшихся выше среднего высшего, думавших, искавших, разъезжавшихся для повседневного труда и съезжавшихся для споров людей действовали в разных сферах культуры и собирались в разных местах страны.

Студенты имели свои издательства для выпуска учебников, руководств, студенческих «Известий» (например, в бывшей Петровке). По их желанию вводились новые курсы (украинский язык и литература, древнееврейский язык в Бестужевке). Крупнейшие ученые становились во главе научно-исследовательских поисковых студенческих групп (кружок Н. Е. Жуковского по проблемам воздухоплавания в Московском техническом училище). Студенческие организации и кружки мыслились необходимым элементом системы Частного Петроградского университета.

Тенденции развития высшей школы проступают отчетливо. Тенденции эти были присвоены, искажены или пресечены новой властью. ●

ПОЧТИ СОСТОЯВШИЙСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Пути развития высшей школы в предреволюционной России, о которых идет речь в статье С. Федорова, отражают и вписываются в более широкий — общеобразовательный — контекст. И здесь — нехватка информации, неполное, а порой искаженное представление о состоянии образования, попытках, предпринимаемых как общественностью, так и внутри формальных структур, изменить положение, вывести вопросы школы на новый, достойный огромной страны уровень. Работа, проведенная в архивах автором предлагаемой читателям статьи, подводит к пониманию необходимости и особенностей реформы народного образования, венчающей усилия российского общества. Реформы назревшей, но, увы, не состоявшейся по слишком многим причинам...

А. Цирульников

Новаторы из 1915-го

Начало века в России. В обществе идут демократические процессы. Заседает Государственная дума. Проведен ряд реформ. Начался бурный подъем экономики и промышленности.

Однако на этом пути, как шлагбаум, стоит закостеневшая система образования. Всеми своими программами, циркулярами, разветвленной сетью инспекторского состава ведомство просвещения душит любое живое начинание. Все социальные слои, практически все партии и фракции выражают недовольство политикой в народном образовании. В Государственной думе кипят страсти. «Система сыска и доносов, вся система нашего воспитания,— предупреждает лидер кадетов П. Милюков,— делает из молодого поколения карьеристов, самоубийц и революционеров». В столице и провинции распространяется декларация: «Школа — вне политики!»

Ситуацию еще более обостряет первая мировая война. В ходе ее становится очевидной вся отсталость России, элементарная техническая неподготовленность. После серии крупных поражений в обществе все настойчивее начинают задаваться вопросом: «Как могло случиться, что в минувшую войну маленькая Япония положила на лопатки армию могучей и необъятной России?» В правительственных кругах распространяются материалы японской конституции 1868 года. В числе первых ее пунктов значилось: «По всему свету нужно искать науку и просвещение, чтобы японская империя все более и более возвышалась».

К началу первой мировой войны в Японии было уже 6647 специальных и технических школ. В России-матушке — в десять раз меньше. Каждая, даже небольшая, германская деревня имела свою профессиональную школу, приспособленную к местным промышленным условиям. В России же расходы на образование одного ученика были в шесть раз меньше, чем средства, выделяемые Главным управлением государственного конезаводства на уход за одной лошадью. «Потоками крови расплачивается теперь страна за эти преступления,— писали газеты, имея в виду состояние народного образования,— настал момент поворотный: или мы окажемся достойными наших предков, создававших и созидавших Россию, или история России пойдет вспять...»

Похоже, это в наших традициях: для того чтобы пробить глухоту общественного сознания, понять смысл образования, нам непременно нужно какое-то потрясение, катаклизм. В разгар мировой войны и началась в России одна из самых масштабных и глубоких реформ народного образования. Пролистаем хотя бы некоторые ее страницы...

Народные проекты

В архиве я листал толстые папки с сотнями отобранных — «Доложено г. министру. Приказано приобщить к делу» — телеграмм, писем, записок, предложений, программ, проектов. Они шли и шли в эти два года реформы с разных концов империи от людей, желавших лично участвовать в преобразованиях. Это были самые разные люди: народные учителя и учащиеся, директора и инспектора, члены попечительных советов, содержатели училищ и их почетные блюстители, слушатели императорской библиотеки и писцы, казначеи, губернские секретари, крестьяне, купцы второй гильдии, классные надзирательницы... Как в странной аналитичной истории (по Ключевскому), тут не было ни классов, ни партий, ни «мы», ни «они»... А все сословия, все чины будто сходились в одном деле, несли каждый свою тяжелую работу, свое «тягло». И в этом взаимодействии сословий, из их совместной работы вырастал народ, Россия...

Телеграмма: «Разрешите личной аудиенции изложить Вашему Сиятельству основы реформы средней школы из опыта педагогической практики России и тщательного

изучения на месте систем среднего образования Германии, Англии, Франции. Преподаватель Шампенца. Второй кадетский корпус».

Записка: «...Нахожу нужным прибавить, что, болея душой за новое подрастающее поколение,.. я приложил все усилия, чтобы мой план выработал в каждом из учащихся необходимые данные для сознательной и дружной работы на благо родины. VIII класса гражданский чиновник Николай Викторович Кунатовский».

Открытое письмо господину министру народного просвещения от русских матерей: «Ваше Высокопревосходительство!.. Традиционное тираническое образование, угнетающее память и не дающее нисколько развитие уму, идущее вразрез с душою и любознательностью ребенка и юноши, вконец опустошает его душу и ум, убивая все начала прирожденных ему сил и живую любознательность в сфере жизни и природы, впечатлительность, фантазию и здравый смысл, развивая в то же время в душе его озлобленное критическое мышление, естественный плод в тоске и отчаянии воспринятых насильственных знаний...»

И ведь не одни эмоции. Приложения имеются. «Материнский элемент в программе школы. Объяснительная записка: литургия как откровение, опыт образного эмоционального преподавания, практическое домашнее освоение языков, живая речь, развитие души». «Безотметочное обучение как средство против неврастении и самоубийств». «К вопросу о пересмотре 500 наук, преподаваемых в российских учебных заведениях». «Особое мнение о продолжительности курса II ступени». «Децентрализация и автономия школы». «Справка о нужде в элементарном юридическом образовании молодежи»...

Есть даже (я взглянул — и ахнул) подробное описание действительным статским советником П. М. Луговским метода «погружения», того самого, слишком уж, говорят, рискованного метода школьного обучения, что так мучительно ищет мой друг-новатор Михаил Щетинин.

Смотрю читательские карточки этих фондов, дел — почти пустые. Значит, никто не видит, единицы узких специалистов. Эти-то богатства? Господи, какие же мы беспамятные! Что же надо сделать, чтобы и это, наше нынешнее богатство, не было похоронено в ведомственном развале?

Земства и города

Первые же циркуляры вновь назначенного министра народного просвещения, графа Павла Николаевича Игнатьева, разительно отличались от циркуляров его предшественников. «Министр народного просвещения предложил разъяснить директорам средних учебных заведений,.. что они не должны предъявлять к ученикам требований об обязательном приобретении форменных мундиров. 31.07.15, № 33897».

Ярче всего суть различия выражалась волшебным словом «открыть». Во времена неторопливого прогресса один университет в России открывался раз в пятнадцать лет. За два года игнатьевской реформы были учреждены и открыты по меньшей мере два десятка высших учебных заведений — в Екатеринославе, Казани, Саратове, Харькове, Кишиневе... Это не считая десятков учительских семинарий и сельских гимназий для будущих народных учителей, десятков и десятков высших, начальных и средних школ...

Но, может быть, важнее понять, кто предупреждал, кто открывал, кто открыл? Те, кто это делал, и выступили союзниками реформы.

В. Кандинский. Заставка.

Чтобы это выяснить, прибегаем к статистике образца 1913 года. Тверская губерния — министерских школ пять процентов. Это в два раза больше, чем частных, и примерно в пять раз меньше, чем школ духовного ведомства. А остальные почти семьдесят процентов чьи? Земские. Местного выборного самоуправления.

За десять лет перед первой мировой расходы земств на народное образование возросли втрое, ежегодный прирост — почти двадцать процентов. Расходы на образование составляли четверть средств земского бюджета, а в иных земствах — до сорока процентов. Не случайно поэтому в 1914 году из 426 уездных земств России 400 уже начали осуществлять в той или иной форме высокое начальное обучение. И к 1917 году намеревались сеть народных школ в основном построить, а к 1920 — окончательно завершить. И, видимо, завершили, если бы... у местного самоуправления была свобода. Но ее никогда в России не было. История земств — сплошная гражданская война. Или, как выражались в те времена, «поход министерства просвещения на земскую школу». Поход этот, впрочем, больше напоминал набеги варваров-кочевников: разрушались библиотеки, вместо выборных директоров и преподавателей назначались вассалы, изымались нововведения — словом, разоряли.

Что же предпринял министр, земский человек граф Игнатьев? Никаких особых программ по земству не проводил. Проектов не строил. А просто отправил прежние циркуляры, покамест циркулярным, подзаконным способом, туда же, откуда вышли. Петлю снял. И земства вздохнули. Города вздохнули... А открыв кредиты, уравняв в правах частные учебные заведения с государственными, министр Игнатьев породил невиданное в России явление (хотя, может быть, возродил, надо проверить) — «конкуренцию городов». Печать тех лет полна удивительных сообщений о том, что провинциальные города соревновались за открытие высших учебных заведений.

Петлю снял — и вздохнули тридцать тысяч российских кооперативов, потребительских и кредитных обществ, товариществ. Они объединяли более десяти миллионов вполне цивилизованных кооператоров. Сужу по тому, что имели свои образовательные программы, издательства, проводили съезды, открывали школы и народные дома, распространяли «волшебный фонарь» и передвижной кинематограф (последний, скажем, в Оренбургской губернии был почти в каждом большом селе). Причем обнаруживалось примечательное явление: шлейф культурно-просветительной деятельности тянулся как бы не позади экономической кооперации, а впереди нее,— именно в сфере образования кооперативы активно группировались и объединялись, потребительские общества обращали порой весь запасной капитал и вкладывали всю чистую прибыль, кредитные товарищества



Н. Смирнов, «Памяти А. Блока».



Бал в Мариинском институте, 1900-е годы.

удерживали при ссудных операциях известную сумму, маслодельные артели отчисляли с каждого пуда проданного молока...

Кооператоры знали, что делали. В департаментах тоже сидели не дураки.

«Петроградский градоначальник запретил обществам «Жизнь» и «Прогресс» лекции по кооперации».

Что ж, прищемят в Петрограде — пролезут в Мценске. В каком-нибудь реальном училище императорского человеколюбивого общества. В царскосельском обществе содействия физическому развитию поколения «Русский витязь».

В Вольном экономическом клубе. В Харбинском обществе распространения среднего образования. В Обществе разумных развлечений г. Самары... За один квартал 1915 года я насчитал свыше трехсот объявлений об открытии самых разнообразных научных и просветительских обществ в Риге и Вильно, Асхабаде и Баку, Тифлисе и Якутске... Не сосчитал, сколько издавалось газет, журналов, всех этих «Вестников» самых различных направлений (только педагогических журналов — штук двести!) «Волны повышенного интереса к педагогике докатились и до нашей родины,— констатировала газета «Школа и жизнь»,— педагогическая литература выросла до небывалых размеров... лекции по педагогике привлекают публику, состоящую не только из педагогов, у всех на устах педагогика...»

Теперь вот думаешь: неужели все дело в министре? Пришел культурный министр, ослабил петлю на городах и земствах — и реформа получила почву, поддержку, живую силу. Или образ «петли» не вполне точен? Была ли петля-то? Была, как не быть. Только все же не налезала на многоукладную экономику. Не могла задушить до смерти многоликое, пестрое образование.

Учителя и родители

Реформа имела свою, особую логику и тактику. Низшая школа получила значительные субсидии и, освобожденная от старых циркуляров, почти полностью оказалась под защитой земств, для которых теперь, при полном взаимопонимании с новым министром, образовалась возможность осуществления давней мечты. Внешкольное образование тоже пошло в гору, подталкиваемое потребностями жизни и энергичной деятельностью культурных обществ, кооперативов, частной инициативы.

Вздохнула высшая школа. Несмотря на войну, активизировалась научная жизнь. Интенсивно заработал Комитет по профессиональному образованию, которому, по мысли графа Игнатьева, предстояло сыграть решающую роль в экономическом освобождении России.

В этой ситуации министерство Игнатьева сосредоточило усилия на центральном и наиболее сложном звене системы — средней школе, которая традиционно для России находилась в наиболее тяжелом состоянии. «Что наша средняя школа поражена серьезными пороками,— отмечали 22 апреля 1915 года «Биржевые ведомости»,— об этом, кажется, нет двух мнений».

Причины назывались разные, но в одном сходились, кажется, все: деформация национальных традиций. «Наша школа переживает эпоху страшного развала, главная причина которого заключается в ее антинациональном направлении. Последнее сделалось возможным благодаря пленению школы государством. Очередная задача нашего времени — возвращение школы народу» («Школа и жизнь»).

«Национальное», «народное» — в этом понятии усматривали главный нерв школы. Его нащупывали давно и по-разному. Обращались к знаменитому русскому педагогу Ушинскому, который в середине прошлого века замечал: школа, где ребенок говорит не на родном языке, «с первого же дня неласково напомнит ребенку, что он не дома, и без сомнения, покажется ему букою». Перечитывали заново обширные резолюции первого всероссийского съезда по народному образованию: там содержались конкретные программы развития школы украинской, болгарской, калмыцкой, еврейской, перспективы постановки учебного дела у латышей и эстонцев, стратегия развития школы Литвы, школы сибирских инородцев, особого «научного метода якутской школы», культура армянской и грузинской



М. Шагал. «Витебская окраина». 1914 год.

школы, педагогика татарской и других мусульманских школ, школа немцев-колонистов... От царской России, этой «тюрьмы народов», остались не только слезы и кабала, но и уникальная многонациональная культура, народная педагогика, самобытные учебные программы, методы — то, что сегодня отыскивается на ощупь, как будто в темноте, как будто на голом месте...

Объединив большие научные и культурные силы, организовав широкое общественное обсуждение, обобщив сотни предложений, Комитет по реформе средней школы, спустя девять месяцев работы, предложил обществу целый пакет новых законопроектов и нормативных актов. Этот «пакет» весьма весом, а уровень проработки темы поистине удивляет. Практически за полгода были подготовлены учебные программы (которые, впрочем, сильно отличались от современных, в них содержался гарантированный для того времени минимум знаний и давались основы, на которых учителя могли строить собственные программы).

Общие основы средней школы заключались в девяти пунктах, большинство из которых не утеряло практического интереса: 1) школа должна быть национальной; 2) давать законченное общее среднее образование; 3) иметь разные типы, ответвления, фуркации...

Имелось несколько вариантов, проектов. Система была открытой, то есть свободной для других проектов. Новое не уничтожало старого, реальные училища уживались с классической гимназией... Вместе с тем в реформе средней школы имелся один пункт, без внимания к которому, по мнению комитета, она не могла стать жизненной. Пункт странный, вроде не самый главный. Выглядит немного наивно: «сближение семьи и школы».

Что это за проблема? Она горячо обсуждалась по меньшей мере с конца прошлого века. Ей посвящались основательные монографии, исследования, о ней размышлял каждый уважающий себя журнал, съезд, общество,— в общем, это считалось в России проблемой из проблем. Кое-какие сдвиги происходили. Некоторые родители входили в попечительские советы и родительские комитеты, некоторые преподаватели выступали в семейных кружках и клубах, переходили в домашние учителя. Но какого-то особого сближения не происходило. Может быть, потому, что в России всегда сохранялись довольно непростые отношения между государством и обществом. А школа, как мы знаем, пока и сегодня остается государственным учреждением. Семья же, как хорошо известно,— «ячейка общества». Отсюда, вероятно, всякие недоразумения.

Например, родительские комитеты появились в 1905 году, во время первой русской революции. Некоторое время они действовали довольно активно. Но потом их почти повсеместно позакрывали за ненадобностью, и только некоторые учителя выступили в их защиту. В то же время, когда разгоняли учительские съезды и союзы, многие родители смотрели на это спокойно. Значит, проблема оставалась. Проблема отчуждения государства и общества, семьи и школы, учителей и родителей.

Начавшаяся реформа выражала интересы и тех, и других. Преподаватели получали не только прибавку к жалованью, но и условия для более свободной творческой работы. Министерство выпустило циркуляр о неформальном педагогическом труде. Педсоветам было предложено, не дожидаясь результатов комиссий, начать самим разгружать программы, упраздняя вопросы типа «какой внук Ярослава Мудрого участвовал в крестовом походе?» и оставлял более существенное. За исключением выпускных, были отменены экзамены, замененные «репетицией — своеобразной формой публичного повторения пройденного». Родителям эти мероприятия министерства по понятным причинам импонировали, в ответ на циркуляры они посылали приветственные телеграммы, благодаря министра за «спасение наших детей».

В прямом смысле — спасение. Нам, пожалуй, трудно представить в эпоху гарантированного среднего всеобуча, что творилось в том мире, когда его не было. «Если бы Вы видели, Ваше Превосходительство,— писали родители министру,— ту массу бледных растерянных лиц детей и матерей, со слезами молящихся в часовнях и церквах, особенно перед экзаменами...» Если бы, думаю я, мы увидели совсем не исключительную для того времени гимназию, в которой, как сообщал министру некий «Голос из общества», из сорока человек только четыре доходят до восьмого класса. А в печати того времени приводились такие данные: 36 человек в классе за одну четверть получили 60 единиц, 19 двоек, четыре смешанные отметки (2/3), 9 троек, четверок и пятерок — ни одной... «Это тупик, дальше которого некуда идти,— взывала газета «Школа и жизнь» в среду 13 января 1916 года,— и чтобы найти из него выход, необходимо просить педагогический персонал пойти навстречу родителям и тенденциям министра народного просвещения для изыскания способов сохранить оставшуюся часть молодой жизни, вскоре долженствующую прийти на смену погибшим и погибающим отцам и братьям своим».

Отменив ежегодные экзамены, министр Игнатьев поставил вопрос и об отметке. В некоторых округах появились безотметочные классные журналы. Я видел эти образцы гуманной педагогики с емкими человеческими характеристиками пробелов и достижений каждого ученика, в конце четверти они обобщались и передавались родителям. Вопрос об упразднении отметки ставился на педсоветах и родительских комитетах. Голосовали. Результаты получались разные в разных округах, казенных и частных училищах, мужских и женских гимназиях. «Отмена их не внесла разрухи в учебное дело»,— с удовлетворением замечал министр, обобщая результаты отдельных опытов. Родители были «за». Но на педагогических съездах, прошедших весной и летом 1916 года, это предложение министра не встретило одобрения.

И все-таки что-то менялось в атмосфере школы. Во всех округах снова появились родительские комитеты. Для них циркулярно, а позднее законодательно устанавливался режим наибольшего благоприятствования. Поскольку дело было серьезное — родительским комитетам, равно как и педсоветам, придавались очень широкие полномочия,— горячо обсуждалась каждая деталь. Отдельные попечители и начальники училищ не утверждали родительские комитеты, ссылаясь на неполучение новых циркуляров министра, другие тянули утверждение месяцами, дожидаясь истечения срока, который, по прежним циркулярам, делал решение недействительным. Родители направляли министру возмущенные телеграммы. И министр тем же, телеграфным способом назначал новые выборы или вводил новый циркуляр, согласно которому состав комитета считался утвержденным, если в месячный срок сам комитет не сообщал о своей отставке.

Строилась правовая школа. Что это такое, мы тоже пока представляем смутно. Хотя начинаем понимать, что одно дело декларация о свободе, самодеятельности, достоинстве и охране прав юной и не очень юной личности, совсем другое — гарантирование этих прав законом...

За полтора года реформы родительским комитетам удалось подчинить своему прямому или косвенному влиянию почти все стороны школьной жизни и многое сделать для ее оздоровления. Родители избирали особые комиссии для выработки желательных учебных программ и здорового режима занятий, вместе с учителями изменяли систему контроля знаний. С помощью родителей велись летние групповые занятия с неуспевающими, экскурсии и научные кружки, выпускались учебные литературные журналы.

Получили развитие существовавшие с начала века, а в других странах и ранее, детские кооперативы. Как и взрослые, они настойчиво углубляли экономические связи с земскими и городскими управами, работали на фронт и помогали деревне (мальчики-гимназисты под руководством агрономов и старост работали в сельском хозяйстве, девочки помогали ухаживать в яслях за крестьянскими детьми, готовили пищу для рабочих дружин, учили неграмотных, проводили литературные вечера в пользу семей запасных воинов). Заливались катки, устраивались гимнастические залы. Оздоровление школы было несомненным.

Летом 1916 года в Петрограде, Москве, Киеве, Одессе, Казани — разных городах империи — прошли педагогические съезды. На них присутствовали профессора университетов, учителя, родители. Съезды были бурными, школа почувствовала в себе силы перейти к кардинальным изменениям. Резолюции некоторых съездов по стилю и духу напоминают послереволюционные, начала двадцатых лет. В известном смысле съезды продемонстрировали, что реформа пошла дальше, чем задумывало министерство и, может быть, сам министр Игнатьев. Дитя как бы начинало жить самостоятельно.

Из резолюций киевского педагогического съезда 12—19 апреля 1916 года с пометками на полях графа П. Н. Игнатьева.

«Принципом, объединяющим всю школьную деятельность, должен быть труд, планомерно осуществляемый, но дающий простор и творческую инициативу ученика».

Продолжение на стр. 87

СВОБОДА, КУПЦЫ И РАБОЧИЕ РУКИ

В. Левин

Москва на рубеже столетий

Под таким названием еще в 1977 году вышла книга известного историка русской архитектуры Евгении Ивановны Кириченко, посвященная зодчеству города второй половины XIX — начала XX века. Строгое название, издательская аннотация, не обещающая захватывающего чтения («Рассказывается об основных этапах развития...»), идеологической скороговоркой произнесенная открывающая книгу молитва («Победа Великой Октябрьской социалистической революции открыла возможность для тех кардинальных социальных преобразований, которые...») — все это не предвещало события. К счастью, беглое перелистывание вырвало несколько спрятанных в тексте фраз: «Новый облик Москвы во многом определяет жилищное строительство. О его реальном объеме можно судить по заметке, посвященной итогам строительного сезона 1911 года: «...одних 5—7-этажных домов минувшим летом было построено до трех тысяч». Три тысячи одних только пяти-семиэтажных домов за одно лишь лето! Это впечатлило. К сожалению, настолько, что исследование Е. Кириченко на долгие годы осталось для меня книгой только этой цифры. А была она совсем о другом. «Реформы и прежде всего отмена крепостного права... изменили радикальнейшим образом условия, определявшие экономическую и социальную жизнь Москвы». Об этом — горы статей и книг, и эти горы давно заслонили первоначальный смысл словосочетания «отмена крепостного права», осталась в сознании лишь заученная дата, и только сейчас мы начинаем открывать, что это — дата начала свободы. И именно с этого конкретного — «здесь и для нас» — открытия и начинает на самом деле свою книгу Е. Кириченко и к нему же сводит сюжеты исследования.

«Ворвался Манчестер в Царьград, паровики дымятся смрадом — рай неги и рабочий ад». В этих строках П. Вяземского (их приводит Е. Кириченко) о метаморфозе, происшедшей с Москвой в середине века, можно сделать два ударения. Одно естественно и слишком знакомо, чтобы останавливаться на нем,— противопоставление патриархально-идиллической Москвы бесчеловечному молоху эпохи «первоначального накопления». И другое — «ворвался». Еще древние знали, что свобода есть обретение пути, но Кириченко показывает: в России это уже не метафорический образ, а статистически зримая реальность.

«Основные участки железнодорожных радиусов (за исключением петербургского) вошли в действие в 1860-е годы, на протяжении первого десятилетия после отмены крепостного права (в 1861—1862 годах построена Нижегородская дорога, в 1862—1864 годах — Рязанская, несколькими годами позднее — Ярославская, Курская и Смоленская)».

«Вокзалы на Каланчевской (Комсомольской) площади стимулировали строительство на Краснопрудных, Красносельских, Почтовых и Басманных улицах. К Нижегородскому и Курскому вокзалам тяготеют Таганка, Солянка, Кожевники и Сыромятники. Так был дан импульс развитию северных, северо-восточных и восточных окраин Москвы между Земляным и Камерколлежским валом и превращению их в районы оптовой торговли и оживленную промышленную местность. Со строительством (начало 1870-х годов) Смоленской (Брестской) железной дороги и Смоленского вокзала у Тверской заставы (ныне Белорусской) создались благоприятные условия для развития северо-западного района Москвы». В конце века рядом вырос еще один вокзал — Савеловский, у Крестовской заставы — Виндавский (Рижский). С постройки Смоленского, Савеловского и Рижского вокзалов началось интенсивное строительство на Тверских-Ямских, Миусских и Лесных, Мещанских, Сущевских, Новослободской и Долгоруковской улицах. Возникновение четвертого транспортного узла — Брянского (Киевского) вокзала — начало преобразование Плющихи, Смоленского и Новинского бульваров, формирование Пресни. Павелецкий вокзал дал новую жизнь Замоскворечью и Таганке... Одновременно с освоением вокзальных предместий «Манчестер», как настоящий стратег, начал перебрасывать мосты через Москву-реку.

В год отмены крепостного права в Москве было всего лишь два постоянных моста — Большой Каменный и Москворецкий, один железный, другой деревянный, остальные были временные (их разбирали в периоды половодья). Но уже в 1864 году по решению Городской думы было начато строительство постоянного Дорогомиловского (Бородинского) моста и в том же году завершено. Краснохолмский мост — 1865—1866 годы. В 1870 году сгорает старый деревянный Москворецкий мост, в следующем же году на его месте стоит новый, уже железный. 1872—1873 годы — сразу два моста, Крымский и Яузский. 1881—1883 — деревянный Ново-Устьинский заменяется каменным и одновременно выстраивается новый, Малый Устьинский.

От привокзальных районов волна жилищного и промышленного строительства катится к границам Земляного города, затем Белого, одолевает Китай-город и в последнее десятилетие перехлестывает внутрь Бульварного кольца.

Но это была еще не та Москва, о которой книга. Обретение пути — лишь начало свободы, и город даже к концу века оставался одно- и двухэтажным на 93,3 процента. Вплоть до восьмидесятых годов четырех- и пятиэтажные дома даже в центре насчитывались единицами. В общем-то это естественно: слишком много было в усадебно-деревенской Москве свободного от строений места, чтобы не громоздить этажи; сказывалась, безусловно, и деревенская привычка первопоселенцев быть ближе к земле. Пустоты эти были «съедены» только в восьмидесятых годах — к 1882 году пустырей в пределах городской черты осталось лишь 8 процентов территории. И вот тогда, с начала 1890 годов, и происходит резкий скачок: «...этажность зданий неуклонно идет вверх: 5, 6, 7, 8 этажей. Строятся дома в 9, 10, 11 этажей, проектируются первые «небоскребы» высотой до 13 этажей... На всей огромной территории древней столицы,— довершает рассказ Е. Кириченко,— обнаруживается тенденция к созданию домов-гигантов».



Налицо, казалось бы, исключительно «нью-йоркская» логика городского развития: уменьшение свободной земли, естественное ее подорожание («...все мечтали составить себе капиталы на спекуляции домами» — свидетельство очевидца этого строительного бума) начало вытягивать дома ввысь. Логика эта, безусловно, действовала. Но в том, что действовала история Москвы исключительно по этой логике, Е. Кириченко заставляет как минимум усомниться. И гоголевский афоризм «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия» привела не случайно.

«Петербург становился символом новой, европеизирующейся России, и его облик должен был соответствовать этой идее. Окно, прорубленное в Европу, надлежало оформлять в европейском духе — располагать дома по красной линии улиц сплошным фасадом, применяя общеевропейские художественные нормы. Наконец, к архитектуре Петербурга в наибольшей степени предъявлялись требования представительности, соответствия ее рангу столичного города мировой державы...» Не в том дело, что к архитектуре предъявлялись требования. Суть в другом — кем предъявлялись. Требования, о которых речь, были сформулированы основанной в 1763 году «Комиссией о каменном строении Петербурга и Москвы». Предписания комиссии имели силу закона, это и привело к тому, что «урбанизация» Петербурга на общем фоне остальных городов воспринималась как ранняя, преждевременная. Ее развитие было искусственно форсировано...» И как следствие, добавляет автор,— «...пред-

писания, послужившие во второй половине XVIII и первой половине XIX веков причиной сложения в Петербурге самого «городского» в России пейзажа, со второй половины прошлого столетия, в пореформенный период, стали если не тормозом, то, во всяком случае, силой, сдерживающей крайности и интенсивность роста этажности построек».

Максимальная высота домов Петербурга определена в 10 саженей, то есть 21,5 метра. Высота главного здания Петербурга — Зимнего дворца — 11 саженей, или 23,6 метра (до карниза). Иными словами, ни одно сооружение города, жилое или административное (культовые постройки с куполами и шпилями или особо выдающиеся в градостроительном отношении, например Адмиралтейство, не попадают под это определение), не могло быть выше Зимнего дворца. «Такое положение, подтвержденное специальным, изданным в 1844 году указом Николая I, сохраняло обязательность вплоть до 1917 года». Архитектурные идеи были рекрутированы державной волей и загнаны в ранжир. Но это были идеи гениев и великих талантов. Им приказано было построить Северную Пальмиру, и Петербург стал ею, в историческое одночасье — мировым шедевром, в улучшении, а следовательно, и развитии во времени не нуждающимся. «Дома в 4—5 этажей, ставшие нормой петербургской застройки уже к началу XIX века, продолжали строиться на протяжении целого столетия. Лишь накануне первой мировой войны в основном на окраинах — на дальних линиях Васильевского острова: на Петроградской стороне — начали появляться 6-этажные постройки с седьмым мансардным этажом».

Кощунственно прозвучит: Петербург отстал от времени, ибо, говоря высоким стилем, время, действительно, не властно над шедевром. Но ведь у этой истины есть и продолжение: да, время не властно, оно просто идет своим чередом, изменяя лишь то, что в нем. Державным импульсом можно создать шедевры, но жизнь развивается свободой — снова и снова напоминает книга.

Московский «Манчестер» — строящийся и богатеющий, оборотистый и прагматичный, железобетонный, трамвайный, паровозный свободный город — работал, накапливал первоначальный капитал, и ему было не до державной гордыни. Он жил, естественно вырастая из своей истории, продолжая ее, а не выстраивался по уставу на пустом плацу.



«Патриотическое одушевление в начале XIX века закрепило за Москвой значение общерусского культурного центра... Авторитет Москвы — символа России — образует своего рода почву, на которой вызревают философия и художественное творчество любомудров, а затем и славянофилов, поглощенных разрешением проблем народности и национальности в общефилософском плане, одушевленных желанием понять существо психического склада русского народа. В этом смысле Москва становится в XIX — начале XX века оплотом идеи народности в той же мере, в какой Петербург был в XVIII веке олицетворением идей государственной гражданственности». Е. Кириченко, естественно, тут же предупреждает, что эти слова нельзя понимать буквально, речь идет о расстановке акцентов. Но здесь уже легко вспомнить: музыку создают не ноты, а тон. Всего-навсего расставлен акцент, а уже представляется, что «фальконетовский» Петр простертой десницей не указывает место, где быть граду сему, а отмеряет: быть граду сему не выше моей руки. А Москве ничто не мешает растить свои этажи...

«Ушли тузы барства и пришли им на смену тузы с Таганки и Замоскворечья,— приводит Е. Кириченко слова из сборника 1916 года,— и превратили Москву-усадьбу в Москву-фабрику и торговую контору, Москву трамваев и небоскребов, фабричных труб и световых реклам. Пришли из глубин народных и другие живые силы и преобразовали столицу рабовладельцев и вольтерьянцев в столицу русского просвещения». Помню, это высказывание вызвало лишь недоумение соединением трамваев, фабричных труб, а особенно «тузов с Таганки и Замоскворечья» (то есть тит титычей, прочно врезанных в сознание как образ абсолютный и однозначный) с началом просвещения. Ведь точно всем известно, что истинно не соединение этих тузов со студенческими сходками, с Малым и Художественным общедоступным, с прогрессивными веяниями, отражающими и защищающими и т. д., и т. п., а полярное и непримиримое противостояние. Но мало ли кто что написал. Цитировать — не значит соглашаться. Однако Е. Кириченко именно об этом — о неразрывной связи.

«Обращение к литературным источникам позволяет заметить одну особенность. Начиная с 1870-х годов, все пишущие о Москве неизменно подчеркивают ее быстрое развитие, урбанизацию, превращение в город в современном смысле — торговый, промышленный, финансовый центр и крупнейший в стране транспортный узел. Этому процессу сопутствует рост науки и просвещения, находящий отражение в строительстве музеев и читален, училищ, гимназий, специальных высших и средних учебных заведений, больниц, театров и т. п.». И несколькими страницами далее, обозначая генезис моего стереотипа: «Устойчивое отношение к архитектуре второй половины прошлого столетия как к феномену исключительно буржуазному в дурном смысле слова коренится, вероятно, в радикальности современной ей русской мысли. Общеизвестна язвительная филиппика Достоевского, вскрывающая чванство и прижимистость купца, требующего вывести на фасаде доходного дома дожевское окно, поскольку он «ничуть не хуже ихнего голоштанного дожа», и обязательно пять этажей, поскольку терять капитала он тоже не намерен».



Но разве тут только чванство и прижимистость? — невысказанно задается вопросом автор.— Разве нельзя предположить и другое — желание даже доходное строение сделать домом, а не многоэтажным бараком? Потом Е. Кириченко подробно и обстоятельно опишет результаты этого «чванства и прижимистости» — неповторимый московский архитектурный облик, свободный, демократический, романтичный. А пока что отвечает на эти вопросы двумя выдержками из трудов II съезда русских зодчих, собравшегося в Москве в последний год XIX века.

«Какой другой век создал столько для удобства жизни человека, когда прежде возникали под влиянием гуманного участия целые колонии для жилья рабочих по строго обдуманному плану? Когда в другое время на благо человечества сооружались такие больницы и школы, когда создавались подобные дворцы из железа и стекла с целью международного общения в интересах промышленности, искусства и науки?» Уберите пафос, естественный для оратора, подводящего итог целому веку,— как бы просит Е. Кириченко своего читателя — и оставьте суть, оставьте лишь причину пафоса: больницы, школы, здания международного общения, фабрики и заводы, музеи и «дворцы науки», и послушайте речь другого оратора того же съезда, уже более конкретную: «Со второй половины нашего века замечается в науке, в литературе, в искусстве особое реальное направление. Общество требует от ученых применения их открытий к улучшению условий его жизни, от художника — картин, изображений, взятых из действительной жизни. Что же оно требует от зодчего? Общество требует прежде всего удовлетворения его реальных требований...»

Вот именно — общество требует, а не государство приказывает.

«Отмена крепостного права и последовавший за ним бурный рост городского населения,— вновь «ab ovo» начинает автор,— создали благоприятные условия для развития частного предпринимательства в области жилищного строительства... На протяжении послепетровского периода важнейшие начинания и контроль за осуществлением строительных работ принадлежат государству. Теперь инициатива в буквальном смысле исходит от частных лиц. Государство утрачивает былое влияние на архитектурный процесс, выступая в качестве заказчика на равных началах с многими другими. Однако частное лицо — не обязательно единичное и не обязательно предприниматель, который занимался и благотворительностью. Значительная роль в разного рода начинаниях принадлежит научным обществам, университету». Так, например, университету принадлежит инициатива строительства Зоологического музея, Музея изящных искусств, и каж-

дое из этих зданий во многом определило облик окружающей застройки.

Демократизация социальной структуры общества, рост науки, культуры, уровня жизни, «потребностей всего населения, в том числе пролетариата» (Е. Кириченко как бы подчеркивает это) привели к образованию в конце XIX века новых точек роста города, уже не транспортно-коммуникационных, а учебных, просветительных, лечебных, благотворительных.

В конце XIX — начале XX века определилось несколько районов интенсивной застройки, связанных с лечебными и просветительскими комплексами. Стромынка стала районом больниц и домов призрения, причем эта специализация не случайна — еще в конце XVIII века здесь была сооружена Преображенская психиатрическая больница. В 1874—1876 годах близ Яузы (на личные средства П. Г. Дервиза) построена первая в Москве детская больница павильонного типа на сто восемьдесят кроватей, планировка которой, разработанная по рекомендации доктора К. А. Раухуса, была одной из лучших по тому времени в мире (и, добавляет Е. Кириченко, послужила образцом для многих больниц России и Западной Европы). Купцами П. А. и В. А. Бахрушиными была сооружена — за три года, с 1884 по 1887 год,— больница для хроников с домом призрения, и вокруг больницы выросли Большая и Малая Бахрушинские улицы. В 1892 году к больнице добавился корпус для неизлечимо больных, в 1903 — родильный дом. В 1890 году на противоположной стороне Стромынки на средства купцов Боевых был построен дом для престарелых и не способных к труду инвалидов на семьсот человек и как следствие — прокладка Большой и Малой Боевских улиц.

В те же годы — Сокольническая больница на Стромынке, в 1901 году по соседству — больница для неизлечимых больных, отделение городского работного дома. Поодаль от «больничного городка» купцы Бахрушины основали самый крупный сиротский приют, где детей обучали грамоте и религии,— целый городок из одноэтажных корпусов на двадцать — двадцать пять человек каждый. Больничное строительство привело к созданию здесь целого жилого района — за два лета 1888—1889 годов на территории Сокольничьего поля было проложено двенадцать улиц.

(Много страниц спустя, в конце книги, где снова пойдут ритуально-прощальные поклоны, странно будет после всех этих цифр читать: «В. И. Ленин подчеркивал, что новые типы зданий — «общественные столовые, ясли, детские сады...» — «созданы (как и все вообще материальные предпосылки социализма) крупным капитализмом, но они оставались при нем, во-первых, редкостью, во-вторых,— что особенно — либо *торгашескими* предприятиями... либо «акробатством буржуазной благотворительности».)

На противоположном конце Москвы, у Девичьего поля — от Плющихи до Новодевичьего монастыря,— в конце века возник еще один комплекс, знаменитая Пироговка. Менее чем за десять лет — с 1886 по 1890-е годы — одиннадцать больничных корпусов университетских клиник, шесть институтов, хозяйственные постройки, жилые дома, детский приют. 1902 — приют для неизлечимых больных (а мы только сегодня открываем для себя с «ихней» помощью существование хосписов), 1908 — Гинекологический институт, Физико-химический институт, 1909 год — здания городских начальных училищ, 1910—1911 — городской универсальный детский сад, 1912 — здание Высших женских курсов...

Еще одна «точка роста» тех лет — Миусская площадь: родильный дом (Абрикосовский), Промышленное училище имени Александра II, Шелапутинское ремесленное училище, «Миусский училищный дом», Археологический институт, Городской народный университет имени Шанявского.

И все это — только примеры, так как исчерпывающее перечисление невозможно: «...вся территория древней столицы превращается в гигантскую строительную площадку». Не случайно с начала XX века в облике Москвы явно прослеживается тенденция к нивелировке различий между аристократическими и рабочими районами. Как в центре, так и на окраинах равно заметно увеличение размеров и этажности многоквартирных доходных домов, все большие масштабы приобретает строительство общественных зданий — начальных, промышленных и ремесленных училищ, больниц, богаделен, детских приютов. К началу XX века, констатирует Е. Кириченко, Москва уже вошла в десяток крупнейших городов мира, в 1907 году по темпам роста сравнялась с Нью-Йорком, а в пятилетие 1912—1917 годов вообще вырвалась на первое место в мире.



Начинался новый этап градостроительной истории Москвы. Рост населения опережал даже такие темпы строительства. В 1906—1915 годах в среднем строилось 200 тысяч квадратных метров жилья, жилой фонд увеличивался ежегодно на 8 процентов, а прирост жителей — на 16. Однако простое увеличение, как бы мы сказали, темпов ввода жилья — на что Москва была, несомненно, способна — далеко не всегда могло решать набирающую силу проблему. Несколько причин тому видит исследователь, одна из главных — «дальнейшая демократизация жизни общества и повышение гигиенических требований к квартирам, достижение которых не представлялось возможным на основе традиционных приемов планировки»... Общество вновь потребовало от своих каменщиков и архитекторов, финансистов и ученых решить очередную задачу, но такая до сих пор Москве не ставилась,— «овладения городским пространством или, точнее, архитектурного осмысления городского пространства в целом». И поиски решения начались столь же интенсивно и впечатляюще, как уже привыкла браться Москва за свои проблемы в первые сорок лет свободы.



«**Градостроительные идеи начала XX века** развиваются в двух направлениях, охватывая два круга проблем: разработку основ развития большого города и городов-садов». Не правда ли, неожиданно? Когда-то еще скажет поэт насчет того, что городу быть, а саду цвесть. Но Московская городская дума еще в начале 1910 годов составила программу строительства двух десятков поселков с домами дешевых квартир, рассчитанных на сорок тысяч семейств, живущих в то время в «коечно-каморочных квартирах» (в «общагах», если по-нашему). В 1915 году был разработан и рассчитан на осуществление к 1920 году проект устройства сети народных домов, равномерно распределенных по городу. В 1914 году Городская дума одобрила проект первого из двадцати поселков-садов на Ходынском поле. Московское архитектурное общество по поручению Шереметьевского поземельного общества объявило в феврале 1917 конкурс на планировку города-сада и проектов типов застройки в подмосковном тогда Останкино. Правление товарищества мануфактуры «Эмиль Циндель» проектирует поселок для рабочих близ Павелецкой железной дороги. Строятся и другие поселки для рабочих и служащих железных дорог, и в каждом из них предусматриваются: общественные центры со зданиями народного дома, кинематографа, ремесленных училищ, мужской и женской гимназий, земских школ, больницы, детского сада и яслей, пожарного депо, аптек, магазинов, рынков, водонапорной башни... И после даже этого перечня Е. Кириченко ставит: «и т. д.»

Книга подходит к концу — и автор спешит сказать: «Проблема городского ансамбля как органически связанных друг с другом частей волнует архитекторов и градостроителей, какими вопросами бы они ни занимались», подводя читателя к главной мысли одного из известных архитекторов того времени, В. Н. Семенова: «Планировать город, чтобы дать возможность беднейшим классам населения жить в лучших помещениях, иметь свой дом,— задача благородная и благодарная».

Увы, решение этой задачи было отложено войной. А затем — «назревшие социальные и градостроительные проблемы развития Москвы решались уже после Великой Октябрьской социалистической революции». С этой фразой и оставляет Е. Кириченко обитателя коммуналки или свибловско-чертановского насельника крупноблочной башни цвета искусственной слоновой кости — вновь и вновь размышлять над прошедшей историей. ●

В. Брюсов. Рисунок Дени. 1913 год.

Выборы в деревне.

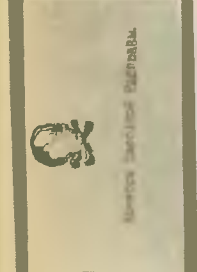
Избирательная урна под охраной полиции (Выборы в I Государственную думу).

Псаломщик, убитый во время экспроприации в церкви, 1907 год.

Г. Распутин в кругу своих почитателей.

Николай II.

П. А. Столыпин в гробу.



Визитная карточка черносотенцев, получение которой означало смертный приговор.



М. Ларионов, «Венера», 1912 год.

ОДНА ИЗ СТОЛИЦ МЫСЛЯЩЕЙ ЕВРОПЫ





Ю. Пивоваров

Лаборатория современного: Петербург, 1909—1921

Известный западногерманский исследователь Карл Шлегель выпустил книгу, которая с большим интересом встречена в широких кругах интеллектуалов и в узком кругу специалистов-россиеведов.



О чем эта книга? Петербург — как одна из наиболее значительных европейских лабораторий, в которых созидалась современная эпоха. И одновременно Петербург — мастерская, где выковывалось будущее России. Автор считает, что наряду с Берлином и Веной именно в граде Петра шли самые интенсивные поиски нового, но и здесь же разыгрались самые страшные трагедии современной эпохи, которая началась, как считается в западной культурологии, на рубеже веков и завершилась десять — двадцать лет назад.

Книга состоит из одиннадцати глав, каждая из которых — как бы самостоятельное исследование. У каждой главы — своя тема или несколько тем, нередко внешне далеких друг от друга, но крепко связанных ассоциативной логикой автора. Это — Санкт-Петербург как месторазвитие (пользуясь евразийской терминологией) трагедии империи. Величие и ужас урбанистической цивилизации. Архитектура города (поиск стиля и борьба стилей) — «азиатский стиль», югендстиль, «модернизированный классицизм». Идейные искания русской интеллигенции — «аргонавтов XX столетия» «Вехи», «Из глубины», «Смена вех». В. В. Розанов как выразитель предфашистского этапа современной эпохи. Судьбы просветителя и издателя И. Д. Сытина, фабриканта П. П. Рябушинского. История и предыстория ГОЭЛРО (планирование как утопия, от эроса техники к эросу власти). Невский проспект как политическое пространство (улица — политологическая категория новой эпохи). Музыкальная культура (прежде всего на примере дирижера С. А. Кусевицкого), театр революции, революция как театральное действо, Петроград как театральная сцена. В. И. Ленин и А. С. Изгоев — два типа политического деятеля русской революции. Петербургская интеллигенция в 1921 году (гибель, бегство, сопротивление, попытка диалога с властью, выдворение за рубеж) и т. д.

По словам Шлегеля, в 1917 году в России произошли великие события, но у них нет своего имени.

Революция, которую так долго ждали, пришла — и в несколько дней от того, что было раньше могучей империей, осталась всего лишь «старая Россия». Это была действительно великая революция, полная библейских ужасов. В ходе этой революции потерпели поражение силы которые вывели страну на путь индустриального развития и превратили ее в одну из наиболее динамичных сил человеческой цивилизации. Русская революция была революцией, направленной против современной эпохи. То, что последовало затем, следует, вероятно, назвать модернизацией без die Modern, продолжением пути к «вершинам цивилизации», но уже без элементов гражданского общества. Нет понятия, позволяющего описать этот прогресс, который был катастрофой, этот прорыв, который сопровождался регрессом. Здесь необходима дефиниция, которая включала бы в себя взаимоисключающие смыслы: «созидание» и «распад».

Природа русской революции противоречива, как, может быть, ни одно другое великое явление мировой истории. С одной стороны, это решительное освобождение долго ожидавшей выхода творческой энергии многомиллионных масс, с другой — социальное и культурное падение «космического» масштаба.

Главное в русской революции, неустанно повторяет автор,— это то, чем была оплачена ее победа. Так вот, за новое заплатили не разрушением старого (хотя было и это), а разрушением иного нового: ростков современного гражданского общества. В этом принципиальная новизна и отличие русской революции от всех предшествовавших ей (от Великой французской, например; ведь их так часто сравнивают). Не уничтожение самодержавия, которое много десятилетий дышало на ладан, а элиминирование результатов столетней культурной и цивилизаторской работы — вот русская революция. Разрушение социальной «середины», центра, в котором из поколения в поколение происходит аккумуляция культуры и формируются новые исторические потенции,— вот русская революция.

События русской истории начала XX столетия напоминают автору поток лавы, который невозможно остановить. Вместе с тем он уподобляет жизнь России первых двух десятилетий века пространству с высоким давлением, опасным вакуумом в некоторых «отсеках» этого пространства и страшными взрывами. В эти годы русская история вместила в себя эпохи, которые Европа органично прошла с XVI по XX века. За провалившейся первой революцией, говорит Шлегель, последовал беспримерный экономический бум, затем страна вошла в стадию мобилизации всех сил для ведения войны, что, в конечном счете, привело к полному распаду, разложению и гражданской войне.

Россия в прологе нашего столетия состоит из двух «миров», двух «цивилизаций». Одна из них принадлежит XVI веку, другая — XX веку. Первая представлена молодым народом, который постепенно втягивался в воронку модернизации и с ужасом, враждебностью и удивлением смотрел на современную цивилизацию, вторая — интеллигенцией, уже успевшей устать от культуры, уже успевшей вкусить от плодов декаданса. ●

ОППОЗИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Е. Королькова, кандидат экономических наук

Душа, преисполненная веры



Социально выживают лишь единицы, которые, как светлые точки, горят разноцветными и различной силы огнями на горизонтах прошлого и которых мы подводим под категорию выдающихся личностей. Михаил Иванович должен быть отнесен и будет отнесен к числу последних. Все мимолетное умрет и покроется пеплом забвения. Но тем ярче будут гореть искры подлинного вдохновения и творчества, черты своеобразия и одаренности, которыми была так богата личность Михаила Ивановича; тем значительнее будет представляться нам то научно-идеологическое наследие, которое он оставил для грядущих поколений.

Н. Кондратьев,
«Михаил Иванович
Туган-Барановский».
Пг., 1923 год

Возвращение из долгого, более чем полувекового забвения имен аыдающихся русских мыслителей начала XX века стало уже чем-то необратимым. Барьер чисто идеологических, пропагандистских штампов, грубо, но иадежно отгораживавший не одно поколение от принадлежащего им по праву интеллектуального наследия, рассыпался, как карточный домик. Сегодня уже вряд ли кто-то поддастся гипнозу бывших долгие годы главным аргументом во всех спорах ярлыков «буржуазный апологет», «мелкобуржуазный оппортунист» и т. п.

Подобные эпитеты сопровождали до последнего времени и имя крупнейшего русского экономиста Михаила Ивановича Туган-Барановского, прославившегося изначально своей теорией кризисов и исследованиями российского капитализма, создателя оригинальной теории кооперации, тонкого знатока истории экономической и социалистической мысли, автора цельной этически и экономически обоснованной теории социализма. Он был широко известеи и благодаря своему курсу политической экономии, по которому училось не одно поколение студентов. Лекции профессора Туган-Барановского, где бы он их ни читал — в Московском университете имени Шанявского, Петербургском политехническом институте, Петербургском университете,— неизменно собирали огромную аудиторию восхищенных слушателей. Его высоко ценило и признавало одним из своих лидеров российское кооперативное движение. Так что же произошло потом?

Нет, он не был выдворен из России, как Бердяев, Франк и многие другие в первые годы советской власти. И не был репрессироаан, как его выдающийся ученик Кондратьев и другие верные науке исследователи. До этих страшных времен Михаил Иванович не дожил. Умер иеожидаино, полный научных планов и творческих сил, от острого сердечного приступа, в начале 1919 года. И тем не менее о его работах, получивших признание во всем мире еще при его жизни, неоднократно переиздававшихся и переведенных чуть ли ие на все языки, было как-то не принято говорить, а уж тем более подчеркивать их значение. За семьдесят лет, прошедших со дня его гибели, у нас не нашлось ни одно о исследователя, который бы занялся всерьез изучением его богатого наследия.

Судьба работ Туган-Барановского на десятилетия была предрешена рядом оценочных высказываний лидеров российской социал-демократии. Конечно, можио ли было найти что-то полезное, заслуживающее нашего «марксистского» внимания в трудах того, кто раздражал Ленина своей «тупостью, иевежеством и недобросовестностью»? Стоило ли углубляться в писания «редкостно тупого» либеральиого профессора, несущего, по ленинским словам, «невероятный вздор, бессовестнейшие нелепости и чепуху»? Другой марксистский авторитет — Бухарин — видел в рассуждениях «г. Тугана» лишь «...логику теоретического жульничества, которое не брезгает ничем, если нужно оправдать Его Величество Капитал», и вообще ие мог «...указать писателя, который был бы... в такой же мере теоретически бесчестен, как сей муж».

Понятно, что эти образцы «иаучной полемики» вдохновляли особо усердных и научио бесплодных советских «исследователей» на злобную пустую трескотню: туганианство соблазиительно, туган-барановщина прилипчива, эклектизм, примиренчество, морализующее мещанское филистерство,— кричали оии что есть сил.

Чем же не угодил, случайно ли разгневал вождей и их приспешников далекий от большой политики профессор? Наверное, все было вполне закономерио. И если кто-то задастся целью отыскать истоки бьющей и по сей день из всех пор агрессивной нетерпимости к инакомыслию, то обращаться придется к событиям вековой даaности.

Михаил Иванович при всем огромном влиянии на него идей Маркса не хотел и не мог, по его собственным словам, «слепо верить в догму». «Под формулой доктрины,— писал хорошо знавший его литературовед Д. Н. Овсянико-Куликовский,— ему было тесно, а душе его душно». Высшей целью и ценностью для учеиого всегда оставалось свободное, независимое творчество. Подчинение научной мысли идеологическим ориентирам, приспособление научной концепции к задачам политической борьбы было для Михаила Ивановича немыслимым, невозможным. Как отмечали современники, «в его сложной и своеобразной натуре была глубоко заложена потребность свободы мысли и независимости мнений. Оттуда его неспособность уместиться в рамках партии или явиться представителем того или иного течения идеологической или общественной мысли».

Но именно «свобода мысли и независимость мнений» были с самого начала неприемлемы для русской социал-демократии, желавшей во что бы то ни стало сохранить единомыслие как верный залог единства и политических успехов. Первые же попытки переосмыслить в той или иной степени учение Маркса, либо его отдельные стороны (в Германии — Бернштейн, в России — Туган-Бараноаский и Струве) вызвали бурю возмущения среди правоверных марксистов.

Плеханов, расценивая свои действия как «политическую обязанность и психологическую необходимость», первым вступил, по его собственным словам, в «смертельную борьбу» со сторонниками «свободы мнений». А они заслуживали ни больше ни меньше — «смертного приговора» как «непримиримые враги», с которыми возможность товарищеской полемики полностью исключалась. «Фаланги теоретиков пролетариата», безгрешных уже по самому своему происхождению, должны были выступить, по мнению Плеханова, против всех этих «академиков»-интеллигентов, «от рождения склонных критиковать Маркса» и захвативших в силу своей образованности влиятельные посты агитаторов, публицистов, редакторов и т. п.

На рубеже веков наиболее опасными русскими «академиками» в глазах ортодоксальных марксистов стали Струве и Туган-Барановский. И конечно же, все те принципы и методы борьбы, которые проповедовал Плеханов в цитированной статье из «Искры», обращенной в первую очередь к германской социал-демократии, распространялись и на них.

Казалось, были забыты и напрочь вычеркнуты годы тесного сотрудничества, в которые Туган-Барановский и Струве сделали немало для укрепления социал-демократического движения. А ведь в деаяностые годы они имели прочную репутацию первых русских марксистов, без всяких присоединенных уже позднее приставок «лже» и эпитетов «неистинные», «легальные» (с негативным оттенком) и других. Их имена не сходили с уст радикально настроенной молодежи, интеллигенции. Их выступления в Вольном экономическом обществе превращались в яркий политический спектакль, за которым, затаив дыхание, следила переполненная аудитория.

Именно Туган-Барановский и Струве в период трехлетней ссылки Ленина и его соратников по делу о «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» приняли на себя заботы по созданию первого теоретического органа социал-демократии — общерусского журнала. Возглавляемый ими журнал «Новое слово», по свидетельству В. Базарова, «...сразу же стал на такую высоту, которой не достигало уже ни одно из периодических изданий русского марксизма». За десять месяцев своего существования он завоевал широкую аудиторию, тираж подскочил в четыре раза. После закрытия властями «Нового слова» была предпринята еще одна попытка по изданию журнала «Начало», выдержавшего всего несколько выпусков и тоже запрещенного цензурой.

На Тугаи-Барановского и Струве пала в этот период и основная тяжесть полемики с народничеством, в дискуссиях с которым и окрепло социал-демократическое направление. В опровержении народнических идей о непригодности для России капитализма, о ее исключительном пути развития огромную роль сыграло фундаментальное исследование Туган-Барановского «Русская фабрика в прошлом и настоящем». Все приводимые в ней данные и факты восставали. против имевшего широкое хождение тезиса одного из лидеров народничества Н. К. Михайловского о том, что «развитие отечественной промышленности», «капитализма на русской почве» равносильно «нищете и гибели русского народа». Автор «Русской фабрики» на базе обширного фактического материала рисовал картину уже реально идущего процесса капиталистического развития со всеми характерными для него чертами. Вызвав немало дискуссий в научных кругах, эта работа позволила тридцатитрехлетнему Туган-Барановскому стать доктором политической экономии. Магистерская же степень была

присвоена ему еще в 1894 году за книгу «Промышленные кризисы в современной Англии», в которой идее о скором и неизбежном автоматическом крахе капитализма, имевшей широкое хождение в марксистских кругах, противопоставлялась картина пусть противоречивого, но постоянного внутреннего саморазвития капитализма.

Однако к концу девяностых годов четко обнаружившееся стремление Туган-Барановского «пойти дальше Маркса», «воспользовавшись всем тем, что дал Маркс», критически переосмыслить некоторые его идеи постепенно превратило ученого из союзника социал-демократии в «друго-врага», по образному выражению одного из лидеров социал-демократического движения Ю. О. Мартова.

И неудивительно. Ведь одно только предположение Туган-Барановского об отсутствии выведенной Марксом тенденции нормы прибыли к понижению означало, что перед капитализмом открываются не столь уж мрачные перспективы.

Сам Михаил Иванович глубоко переживал усиливавшийся разлад. В одном из писем видному деятелю социал-демократов А. Н. Потресову он с горечью писал: «...Следовало бы, мне кажется, строго различать разногласия в вопросах общественных от разногласий в вопросах чисто научных. Я понимаю, что можно возненавидеть человека за первое, но за последнее, казалось бы, ненавидеть нельзя. А между тем у нас совсем не умеют различать эти области. Говорю я обо всем этом потому, что я теперь больше, чем когда-либо, чувствую себя солидарным по общественным вопросам с теми, кого может рассердить моя критика Маркса. Но пойдите убедить людей, что можно быть Genosse (товарищем) и критиковать Маркса».

Последней попыткой объединить усилия сторон стала «Искра», к созданию которой вернувшиеся из ссылки Ленин, Потресов и Мартов решили привлечь Туган-Барановского и Струве. От последних прежде всего требовалось содействие в обеспечении газеты материалами, поддержка денежными средствами, их богатый редакторский и издательский опыт. Для переговоров с организаторами газеты Туган-Барановский и Струве в марте 1900 года специально приехали в Псков.

То, как развивались события вокруг «Искры», на наш взгляд, достаточно показательно. Сначала, казалось бы, успех псковских переговоров: первые денежные взносы на газету, выработка приемлемого для обеих сторон заявления «От редакции», допускавшего сосуществование различных течений внутри социал-демократии, открытую полемику между ними. И вдруг (а может быть, не так уж «вдруг») спустя всего несколько месяцев — «доработка» и «правка» совместного заявления одной из сторон — ортодоксами — без какого-либо совета, согласования с другой — легальными марксистами. И в итоге — появление в тексте столь привычных нам теперь прямых обвинений в оппортунизме, сближении с буржуазной апологетикой.

После этого для Туган-Барановского сотрудничество стало невозможным. Так была поставлена точка в конце первого наиболее «революционного» периода в жизни ученого. Позади осталась первая студенческая демонстрация в годовщину смерти Добролюбова — 1886 год,— среди организаторов которой, кстати, был и Александр Ульянов, закончившаяся высылкой студента-естественника Михаила Туган-Барановского из Петербурга; жаркие споры молодежи о судьбах России в небольшой гостиной Туган-Барановских, когда за чаем у самовара наизусть цитировали Маркса, ища у него ответы на жгучие вопросы; диспуты в Вольном экономическом обществе; напряженная работа по выпуску и спасению от закрытия социал-демократических журналов; увольнение из Петербургского университета за «неблагонадежность» и, конечно же, неустанная исследовательская работа.

Новый век принес Михаилу Ивановичу и огромную личную утрату — неожиданную смерть горячо любимой жены Лидии Карловны Давыдовой, с которой он после их романтического знакомства на Эйфелевой башне в Париже практически не расставался. Горе, отчаяние, безразличие ко всему, глубокий внутренний кризис — все это надо было пережить, преодолеть, чтобы выйти на новый жизненный виток.

История как бы повторялась: за участие, в общем-то случайное, в демонстрации перед Казанским собором в марте 1901 года М. И. Туган-Барановский, теперь уже первый русский экономист, был вновь, как в годы юности, выслан из Петербурга. Оказавшись волею судьбы на Украине, недалеко от тех мест, где он родился и вырос, Михаил Иванович находит в себе силы вернуться к научным исследованиям. Многое из своих прежних воззрений он пересматривает в этот переломный для России и для него лично период, многое переосмысливает. Но избранный им в итоге путь был глубоко оригинален и самобытен, резко отличался от идейной эволюции таких «переболевших» марксизмом русских мыслителей, как Бердяев, Булгаков, Струве, Франк и другие.

Судьба марксизма, проникшего и распространившегося в России в девяностых годах, оказалась, таким образом, далеко не однозначной. Замкнутая кружковая среда спрямляла и приглаживала Марксову концепцию, придавала ей упрощенный, а подчас просто вульгарный характер. Близкая к европейскому уровню, но тем не менее своеобразная российская академическая среда (по словам самого Туган-Барановского, «научный социализм» нигде не встречает среди образованных людей столько адептов, как в России) породила вариант «академического марксизма». Его представители — в их числе М. И. Туган-Барановский,— блестяще владея Марксовым наследием, преклоняясь перед научным авторитетом Маркса, восставали против обожествления его личности и внеисторической оценки, канонизации его учения. Они вели свое исследование в русле непредвзятого, критического осмысления теории Маркса и ее обогащения наиболее ценными идеями и концепциями западной экономической и философской мысли. Упомянем хотя бы то, что Туган-Барановский параллельно и независимо от знаменитого английского экономиста А. Маршалла, работы которого признаны революционными в экономической мысли, стремился к синтезу различных теорий — трудовой и теории предельной полезности австрийской школы.

Была и третья мощная волна, выросшая из марксизма и пришедшая в итоге к его полному отрицанию, преодолевшая рамки материализма в его грубой и более тонкой формах и вырвавшаяся в третье нематериальное, духовное измерение,— знаменитый русский идеализм начала века. Этот удивительный феномен трансформации, неоднозначного преобразования внутренней энергии Марксова учения в условиях холодной полуфеодальной России, наверное, привлечет еще внимание многих исследователей. Мы же вернемся к М. И. Туган-Барановскому.

Михаил Иванович и после его отторжения от социал-демократического движения, разочарования в нем остался верен социалистическим идеалам, посвятил отпущенные ему судьбой годы созданию и всестороннему научному обоснованию собственной теории социализма. Конечно, были и другие научные интересы, увлечения — Туган-Барановский, будучи человеком очень разносторонним, живо откликался на многие конкретные экономические проблемы, стоявшие перед Россией (денежно-финансовую, земельно-аграрную и другие), предлагая в каждом случае свое, оригинальное решение. Но поиск высшего общественного идеала, нравственно безупречного и экономически эффективного, оставался всегда главным, доминирующим в его творчестве.

И здесь — сегодня, в пору всеобщего разочарования в социалистических концепциях — закономерно возникает вопрос: а не был ли Туган-Барановский автором очередной схемы «заоблачного рая», служение которым так дорого обошлось миллионам? На него с уверенностью можно дать отрицательный ответ. Господствовавшие представления о будущем обществе как жестко централизованном, нетоварном, подчиненном единому всеохватывающему плану, наложили, бесспорно, определенный отпечаток на его воззрения. Иначе, по-видимому, и быть не могло, ибо любая теория вызревает в конкретной идейной атмосфере.

Но главное, однако, не в этом. Концепция социализма Туган-Барановского была отнюдь не ортодоксальной и потому находилась под огнем постоянной критики, причем — и это, наверное, самое удивительное — с совершенно разных позиций и сторон. Увлеченность идеями социализма вызывала недоумение его бывших единомышленников, в том числе ироничного Петра Струве, совершившего в своих взглядах стремительную эволюцию вправо. «Апологетика социализма,— писал в 1910 году автор первого Манифеста российской социал-демократии,— как творческая сила теории иссякла», ибо «незаметно подкрался кризис социализма». Теперешние «искания» Туган-Барановского казались ему совершенно бесплодными и вообще какими-то несерьезными.

Что касается крайне левых движений, то в глазах их лидеров ученый только укрепил репутацию либерального профессора на службе у буржуазии, «уничтожающего социализм» по ее социальному заказу.

«Одни меня ругают за ортодоксальность, а другие за то, что я не настоящий марксист»,— на такую жалобу, как видно, Туган-Барановский имел основания не только в конце девяностых годов, но и много лет спустя.

Критику, в первую очередь, вызвала попытка Туган-Барановского соединить социалистическую теорию с некоторыми основополагающими идеями философии И. Канта. Увлечение Туган-Барановского Кантом отнюдь не было данью моде. Напротив, его возмущало поверхностное знакомство с работами великого мыслителя, скоропалительные и неглубокие суждения о них, ставшие «нормой» среди его многочисленных поклонников. Сам Михаил Иванович, будучи уже зрелым ученым, более года специально занимался философией Канта, перечитывая его книги по нескольку раз. Итогом этого было не простое заимствование идей, не механическое привнесение их в свою концепцию, а внутреннее, глубинное их осмысление, означавшее существенный сдвиг в собственном мировоззрении.

Философским и нравственным кредо ученого стала идея верховной ценности человеческой личности. Знаменитые слова Канта могли бы быть предпосланы в качестве эпиграфа ко всему его творчеству: «В природе все что угодно, над чем мы имеем власть, может служить нам средством, и только человек и с ним всякое разумное существо есть цель в себе».

Теперь и знаменитый лозунг равенства, начертанный на социалистических знаменах и имевший различные толкования, получал новое звучание. Люди равны как носители человеческой личности. А она есть бесконечная ценность, святыня независимо от того, умен или глуп ее носитель, силен он или слаб, свят или греховен. Все они равны по своим правам на жизнь и счастье, они равны по тому уважению, с каким мы должны относиться к интересам их всех — они равны по бесконечной ценности, которой обладает личность каждого из них. «Отбросьте учение об абсолютной ценности человеческой личности — и все демократические требования нашего времени окажутся пустым разглагольствованием». Идея равноценности человеческой личности становилась для Туган-Барановского основной этической идеей социализма. Все другие проблемы — о социально-экономическом устройстве нового общества, способах достижения экономической эффективности — центральные с точки зрения собственно экономического анализа — рассматривались им сквозь этическую «призму».

Многим этот подход был непонятен и чужд. Бухарин, читая работы Туган-Барановского, заключал: «...кроме «этической болтовни», которую всерьез принимать невозможно, мы не находим ровно ничего». У Струве поиски бывшего друга вызывали лишь раздражение, он провозглашал его «канто-марксизм» тщетными и несвойственными истинной науке усилиями по «спасению» идеи социализма, а заодно и души.

Это все, однако, не поколебало уверенности Туган-Барановского в плодотворности избранной линии. Исследование убедило его, что дилемма «личность — общество» всегда незримо присутствовала в

социалистической литературе и получала подчас противоположное разрешение в воззрениях разных авторов. От крайне «антииндивидуалистической» концепции идеального государства Платона, рисовавшей картину полного поглощения личности обществом, до «сверхиндивидуалистических» анархистских теорий, освобождавших личность от каких бы то ни было общественных рамок и ограничений. А между ними лежал широкий спектр теорий, склоняющихся в ту или иную сторону.

Степень подчинения личности обществу находилась в каждом случае в непосредственной зависимости от социально-экономического устройства общества — степени подчинения его частей целому. Все эти рассуждения привели Туган-Барановского к оригинальной классификации предшествующих социалистических и коммунистических систем, в основу которой он положил критерий степени централизации хозяйственного строя.

Наивысшего выражения централизация достигала в системах государственного социализма, или, как его еще называл Туган-Барановский, «коллективизма», в которых все общественное хозяйство сосредоточено в руках государства, владеющего всеми средствами производства и продуктами общественного труда. Именно такие картины будущего рисовались сенсимонистам, немецкому социалисту Родбертусу. Подобная же система была выдвинута марксизмом. Свою карикатурную форму она приобрела в работах французского социалиста Этьенна Кабе. Казарменную, зарегламентированную и унифицированную жизнь винтиков-роботов в придуманной им стране Икарии Туган-Барановский не мог охарактеризовать иначе, как «грядущее рабство», «царство скуки и коммунизма».

В отличие от «государственного социализма» «синдикальный социализм» предполагал передачу средств производства в руки отдельных организованных профессиональных рабочих групп — синдикатов рабочих. Наиболее последовательными сторонниками такого плана были французский социалист Луи Блан и один из лидеров германской социал-демократии Ф. Лассаль.

Отвергая профессиональный признак в качестве основы хозяйственного деления общества, «коммунальный социализм» усматривал главную хозяйственную ячейку общества в коммуне (общине), объединяющей в одну экономическую организацию представителей различных видов труда и ведущей хозяйство в значительной мере на натуральных началах. Идеи коммунального социализма были необыкновенно популярны, их развивали и пропагандировали знаменитые социалисты-утописты Ш. Фурье, Р. Оуэн, В. Томпсон.

Степень централизации от государственного к синдикальному и коммунальному социализму резко падала и достигала своей низшей отметки в «анархическом социализме», яркими сторонниками которого выступали Прудон, Кропоткин и другие.

Анализ Туган-Барановским сильных и слабых сторон предшествующих социалистических моделей превратился в блестящую, ярко, образно и вдохновенно написанную историю утопического социализма, которая по праву должна войти в золотой фонд экономической мысли. Для самого же ученого эта работа имела в некотором роде «подготовительный» характер, давала обильную пищу для размышлений. Множественность теоретически возможных моделей социализма вплотную подводила к мысли об их возможном разнообразии и в реальной действительности. А это, в свою очередь, диктовало необходимость научного прогноза наиболее вероятной в условиях преобладающего индустриального развития формы нового строя.

Четко прослеживавшаяся в начале XX века тенденция к концентрации и централизации производства, его огосударствления заставляла Туган-Барановского обратить взоры на модель «коллективизма», «государственного социализма». Однако не склонный ее идеализировать, напротив, относящийся к ней недоверчиво и критически, ученый попытался разработать систему противовесов, контрмеханизмов, позволяющих избегнуть, по его словам, те огромные опасности, которые таит в себе государственная централизация.

Что же более всего отпугивало Туган-Барановского от системы «коллективизма»? Это и бюрократизм, всегда выступающий спутником централизма и означающий отрыв общественного механизма от тесного соприкосновения с действительной жизнью; и отсутствие достаточных стимулов к производительному труду; и некомпетентное управление; и главное — подавление личности человека, ее полное подчинение велениям центральной власти. «Если мы представим себе социалистическое государство как гигантскую машину, в которой отдельный человек играет роль винтика или колеса, управляемого движением всего механизма, то это, быть может, и поведет к созданию наибольшей суммы общественного богатства, но не будет соответствовать интересам трудящегося человека, не желающего принижать себя до простого подчиненного орудия общественного целого».

Такая картина, по мнению Туган-Барановского, никак не вписывалась в систему нравственно-этических координат. Возможная несвобода, подавление личности делали всю, быть может, стройную и логически привлекательную схему общества как единой планомерно функционирующей фабрики никуда не годной. Не склонный к абстрактному фантазированию, ученый попытался отыскать противовесы в реальных тенденциях, постепенно набиравших силу в рамках капитализма.

Первое, что привлекло его внимание, было быстро развивающееся во всем мире, в том числе и в России, кооперативное движение. Посвятив не один год изучению кооперации — итогом стала знаменитая фундаментальная работа «Социальные основы кооперации»,— Туган-Барановский пришел к выводу, что за определенными ее формами большое будущее. Кооперация давала свободный выход творческой энергии ее участников, не сковывала личность, побуждала развивать более чем среднюю предприимчивость, изобретательность. Кооперативные предприятия в условиях нового строя могли бы, получая от государства на определенных условиях средства производства, обеспечивать более эффективное, чем на государственных предприятиях, их использование. Широкое развитие добровольной кооперации, раскрепощающей инициативу, творчество, стало бы одним из ограничителей централистской принудительной доминанты, обеспечило бы более эффективный мотивационный механизм.

С другой стороны, от сверхцентрализма можно было бы уйти путем широкого развития местного муниципального самоуправления. По словам ученого, «центральная власть должна брать на себя только лишь то, что явно не по силам муниципалитету». А остальное — дело «публичных самоуправляющихся корпораций», в которых личность подавляется гораздо меньше уже в силу их меньших масштабов.

И наконец, третьим достаточно сильным противовесом могла стать такая уже выработанная капиталистической промышленной системой форма, как трудовой копартнешип, означающий широкое участие рабочих в управлении фабрикой. Собственно, эту же идею подсказывали и модели синдикального социализма.

Проводя свое исследование в системе двух базовых координат — главенствующей этической и экономической (новый строй должен стать системой высшей производительности по сравнению с предшествующим, иначе он просто не состоится),— Туган-Барановский пришел (в 1917 году!) к принципиально новому видению будущего общества. Оно предстало в его концепции как сложная хозяйственная система, построенная на различных принципах, как «система общественных союзов различной широты и различным образом построенных». Такой подход был поистине новым словом в истории социалистической мысли.

Господствующему представлению о социализме как строе, базирующемся на сквозном, едином, всеохватывающем принципе огосударствления и обобществления, Туган-Барановский противопоставил свою модель неодномерного, многоукладного и потому более гибкого, подвижного и сложного хозяйственно-экономического целого. Как философу и экономисту высочайшего класса Туган-Барановскому было ясно, что единообразие и универсализм в социально-экономических вопросах не могут служить плодотворным подходом. Поэтому он и попытался представить новое общество как симбиоз, взаимосочленение различных хозяйственных форм — государственных предприятий, коллективов арендного типа, кооперативов, мелкого индивидуального производства.

Видел ли Туган-Барановский перспективы скорого осуществления социализма в России? Анализ уровня социально-экономического развития страны, соотношения различных общественных сил не давал ему поводов для каких-то иллюзий. Он был уверен в том, что «Россия... в ближайшем будущем не станет социалистической». После Февральской революции, которую он горячо приветствовал, открывался простор для «нового социального творчества», которое постепенно приближало бы страну к обществу более высокого типа. Развитие должно было пройти через этап «государственного урегулированного капитализма, ограниченного в своих правах интересами всего общества», «государственного капитализма, проникающегося все более и более социальным содержанием». Только так виделась ученому возможность перехода в перспективе к системе высшей производительности, освобождающей и возвышающей человеческую личность.

Закончить наш далеко не полный и, конечно же, поверхностный рассказ о Михаиле Ивановиче Туган-Барановском хотелось бы словами его современников. «Мечтатель, скажет читатель? Да, но мечтатель, вооруженный огромным научным багажом, оставивший нам богатое духовное наследство, проникнутый великой любовью к человеческой личности, указавший нам идеал, руководствуясь которым человек сумеет, наконец, не «завоевать», а честно заработать и укрепить свою подлинную свободу»*. «Читайте его книги... Вы увидите душу, не омраченную житейским скептицизмом, приемлющую мир, как он есть, и преисполненную несокрушимой веры в силу и торжество добра. Оттуда и спокойствие и вместе с тем искрящаяся жизнерадостность его научной мысли, в которой нет ни запальчивости полемиста, ни пафоса трибуна, ни предвзятости адепта той или иной школы»**.

---

* А. Анцыферов. «М. И. Туган-Барановский». Харьков, 1919 год.

** Д. Н. Овсянико-Куликовский. Предисловие к статье М. И. Туган-Барановского «Нравственное миросозерцание Достоевского». Одесса, 1920 год.





Панорама Невского проспекта, 1900-е годы.

Л. Сараскина

Пророчество «от ужаса»



Будут, будут кровавые,
полные ужаса дни...
о, кружитесь, о, вейтесь,
последние дни!

Андрей Белый. «Петербург»

«Под притушившим, но не погасившим крамолу владычеством Александра Третьего и в первое десятилетие несчастного нового царствования глухо назревал и заявлял о себе зловещими предвестиями готовый вспыхнуть переворот, размеров которого не предвидел, быть может, и сам поставивший его прогноз и диагноз Достоевский,— так писал о времени, когда «угрюмые сумерки прошлого столетия» сменились «кровавой зарей нового века», Вячеслав Иванов.— Старый мир со всем, что было в нем великого и святого, за многие неискупленные неправды, внедрившиеся в его державное строительство, был осужден разумом истории и обречен на огненное испытание. Молодая, мыслящая и дерзающая Россия тосковала и металась в поисках «правды»: она переживала нравственный кризис. Страна платила человеческие дани темным демонам исторического долга».

Спустя тридцать пять лет после «Бесов» наступил год 1905: прогноз Достоевского подтверждался, по крайней мере, в части огненного испытания. Начиналась эпоха интерпретаций романа — литературно-общественная мысль силилась уловить связь реалий исторической действительности с изобличенной и осужденной писателем «бесовщиной». Новый этап революционного движения в России давал основания видеть в романе Достоевского концепции универсального характера. «Дешевое глумление над... нигилизмом и презрение к смуте», как определял отношение Достоевского к революции Салтыков-Щедрин, вдруг, в начале XX века, осозналось как предощущение трагическое: символистская критика – В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов, А. Волынский, Н. Бердяев — открыла в Достоевском «вечное».

Надо ли удивляться тому, что «Петербург», роман о русской революции вообще и о революции 1905 года в частности, написанный одним из крупнейших художников и теоретиков символизма Андреем Белым, испытал сильнейшее влияние Достоевского?

Современник Андрея Белого, его друг и союзник, которому роман «Петербург» обязан своим названием и в доме которого он был создан, Вячеслав Иванов писал в 1916 году: «Мне кажется порой, что я вижу все несовершенство гениального творения Андрея Белого, его промахи и уродливости, какую-то неумелость или недовершенность тут, натянутость или безвкусие там, в иных местах пустоты и пробелы художественной разработки, замаскированные пестрыми, только декоративными пятнами, часто, слишком часто злоупотребления внешними приемами Достоевского при бессилии овладеть его стилем и проникать в суть вещей его заповедными путями (Достоевский для Андрея Белого вообще, по-видимому, навсегда останется книгой под семью печатями), и все же я не хотел бы, чтобы в этом полухаотическом произведении была изменена хотя бы одна йота»[1].

[1] Двумя годами раньше, в 1914 году, С. Н. Булгаков утверждал: «Петербург».. оказывается как бы прямым продолжением «Бесов», и это тем более поразительно, что, очевидно, чуждо преднамеренности».

В этом искреннем признании, вряд ли совершенно бесспорном, хотелось бы подчеркнуть одну существенную деталь: «злоупотребление внешними приемами Достоевского».

Конечно же, самое прямое отношение это имеет к «злоупотреблению» «Бесами».

В центре романа Андрея Белого «Петербург» — драма интеллигентского сознания в эпоху революции. Именно через это сознание преломляются реальные приметы октябрьских событий 1905 года — митинги, демонстрации, казни, расстрелы. Интеллигент-аристократ и его взаимоотношения с революционной партией, пытающейся вовлечь в свою деятельность «полезных» людей,— таков один из главных сюжетных ходов романа: ведь, как говорил Петр Верховенский, «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!»

Впрочем, сын петербургского сенатора Николай Аполлонович Аблеухов, студент-философ, неокантианец, не окончивший, однако, курса, во многом уступает своему тезке и литературному прототипу Н. Ставрогину. Герой Достоевского «...если и помогал случайно, то только так, как праздный человек». Аблеухову же запутаться в делах партии оказалось несравнимо легче: барчук, изучающий «методику социальных явлений» и читающий Маркса, не раз заявлявший о своей нелюбви к отцу-сенатору, он представляется партии вполне подходящей фигурой, которой можно поручить террористический акт — отцеубийство.

«Внешние приемы» сопоставления «Петербурга» с «Бесами» складываются в символическую картину качественно нового состояния русского общества. За тридцать пять лет после нечаевской истории оно проделало длинный путь в том самом нечаевском направлении. Единичные явления приобрели массовый характер, болезнь зашла вглубь и захватила столицу Российской империи.

На бале-маскараде в приватном петербургском доме поет арлекин песенку про то, что «...акт террористический свершает ныне всякий».

Сбывалось предсказание Петра Верховенского: «Мы организуемся, чтобы захватить направление; что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой... Еще много тысяч предстоит шатовых...»

Террор, ставший к концу XIX столетия явлением обыденным и почти рутинным, к началу XX века действительно смог «организоваться». В начале 1900 годов при активном участии известных деятелей террора Григория Гершуни и Бориса Савинкова была создана «Боевая организация партии социалистов-революционе-







Уличная сценка.

Гравюра А. Остроумовой-Лебедевой к книге В. Курбатова «Петербург», 1912 год.

М. Добужинский. Рисунок для журнала «Мир искусства», 1902 год.

Е. Кругликова. А. Белый.

ров», взявшая на себя руководство террористическими актами. За пять лет, с 1902 по 1906 год, ими совершены десятки убийств и множество покушений[2].

И факт, что прообразом революционной партии, изображенной в «Петербурге», стала партия организованного террора, воплотившая (пусть и не во всем буквально) мечту Петруши Верховенского,— одно из самых серьезных доказательств того самого «злоупотребления» Достоевским и его приемами. Но только «внешние» ли они, эти приемы?

Достоевский в качестве событийного прототипа берет нечаевскую историю — худшее и как будто совсем не характерное явление для революционного движения в России. Но и Андрей Белый вслед за Достоевским в качестве прототипов деятелей движения берет представителей анархо-террористического крыла эсеровской партии. Причем узнаваемость прототипа однозначно нарочитая: так, бегство революционера Дудкина («Петербург») из Сибири в бочке из-под капусты — хорошо известный эпизод биографии эсера Гершуни.

Таким образом, происходит любопытное пересечение вымысла и реальности: не только персонажи «учатся» у реальных исторических прототипов, но и реальные деятели многое берут у своих литературных предшественников.

Сопоставление «Петербурга» с «Бесами» как в аспекте действующих лиц, так и их реальных прообразов дает богатый материал для осмысления тенденции, о которой предупреждал Достоевский. Очевидно: революционеры Андрея Белого, объединенные уже не в самодеятельные и доморощенные ячейки-пятерки, а в мощную боевую организацию, заметно продвинулись по пути воплощения идей «Катехизиса».

«Я деятель из подполья,— объясняет Николаю Аблеухову Дудкин (Алексей Алексеевич Погорельский, потомственный дворянин, порвавший со своим классом и ставший «виднейшим деятелем русской революции»).— ...Я ведь был ницшеанцем. Мы все ницшеанцы... Для нас, ницшеанцев, волнуемая социальными инстинктами масса (сказали бы вы) превращается в исполнительный аппарат, где все люди (и даже такие, как вы) — клавиатура, на которой летучие пальцы пьяниста (заметьте мое выражение) бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все».

«Спортсмены от революции»,— уточняет Аблеухов. Собственно говоря, идеи Дудкина гораздо радикальнее «Катехизиса»: если там «поганое общество» подразделялось на шесть категорий по степени утилизации, то есть употребления в революционное дело, то в программе новой партии «все люди — клавиатура». Намного превзошел Дудкин своих предшественников и как лидер: никаких церемоний с «демократической сволочью», никаких предрассудков насчет пределов власти вождя партии. «Я действую по своему усмотрению... мое усмотрение проводит в их деятельности колею; собственно говоря, не я в партии, во мне партия...»

Ни сама партия, ни ее вождь не строят иллюзий относительно своих целей и задач: все то же старое и знакомое — «мы провозгласим разрушение...». Так Дудкин развивает «парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру; период изжитого гуманизма закончен; история — выветренный рухляк: наступает период здорового варварства, пробивающийся из народного низа, верхов (бунт искусств против форм и экзотика), буржуазии (дамские моды), да, да: Александр Иванович проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев, призвание монголов».

Но специализация по части разрушения и монголов не проходит бесследно. Партия, изображенная в «Петербурге», находится на стадии не только духовного, но уже и физического вырождения, а ее сотрудники переживают мучительный процесс распада личности. Сам лидер террористической партии (партийная кличка Неуловимый, он же Дудкин, он же Погорельский) подвержен «роковым явлениям» — кошмарам, галлюцинациям, приступам тоски, отвращения и гадливости, припадкам преследования. Истоки болезни, которая изводит вождя и его партию, запрятаны где-то в самой сердцевине движения. Какая-то неискоренимая нравственная, духовная порча разъедает партию, сеет внутри нее рознь и вражду; исправить положение нет уже никакой возможности. Дудкин признается: «Ну — водка; и прочее; рюмки; а я уж смотрю: если у губ появилась вот этакая усмешка... так знаю: на собеседника положиться нельзя; этот мой собеседник — больной; и ничто ие гарантирует его от размягчения мозга: такой собеседник способен не выполнить обещания... способен украсть и предать, изнасиловать; присутствие его в партии —

---

[2] Среди убитых — два министра внутренних дел, Сипягин и Плеве, министр просвещения Боголепов, генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович, член Государственного Совета тверской, генерал-губернатор граф Игнатьев, уфимский губернатор Богданович, санкт-петербургский градоначальник фон Лауниц, военный прокурор Павлов и другие.

провокация. С той поры и открылось значение эдаких складочек около губ и ужимочек; всюду, всюду встречает меня мозговое расстройство, неуловимая провокация...»

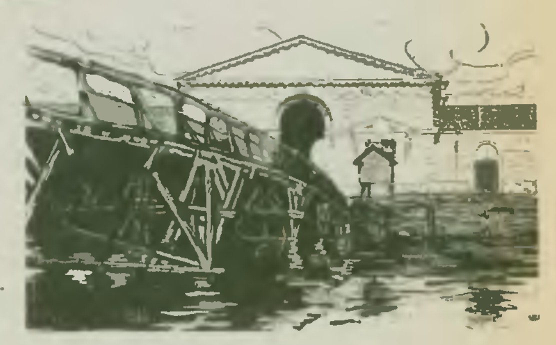
Так Дудкин, «честный террорист», индивидуалист и мистик, допустивший в своей партии провокаторство «во имя великой идеи», сам становится орудием и жертвой провокации, густой сетью опутавшей не только боевую организацию, но и всю страну. Провокаторство, дозволенное в ограниченных пределах, имеет тенденцию к преодолению барьеров, выходит из-под контроля и становится из специфического универсальным средством. Именно провокацией, которая пожирает революцию, и больна ее революционная партия. Историческая жизнь России, которая заключена между политической реакцией, полицейским сыском, революционным террором и всепроникающей, всепоглощающей провокацией, находится во власти оборотней-провокаторов — бесов. Создав единую сеть провокации, они-то и подталкивают Россию к катастрофе, чреватой для страны полным внутренним перерождением.

Когда С. Н. Булгаков в 1914 году писал о «Бесах» как о романе, где художественно поставлена проблема провокации, когда он доказывал, что человеко-божеское сознание ставит Петра Верховенского «по ту сторону добра и зла» и делает из него провокатора в политическом смысле, предателя, за деньги выдающего тайны партии,— тогда роман Андрея Белого был только что опубликован. Таким образом, на вопрос С. Н. Булгакова, коренной и ключевой,— «представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь?» — Андрей Белый отвечал самостоятельно. И свою независимую солидарность с позицией Булгакова («Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины») Андрей Белый обнаруживает в романе «Петербург» созданием образа Азефа — провокатора Липпанченко.

Один из руководителей террористической организации, таинственная «особа», которая держит в своей власти и Дудкина, и Аблеуховых, и всю партийную сеть, малоросс Липпанченко, он же грек Маврокордато, он же агент-провокатор охранного отделения, изображен в «Петербурге» с фотографической узнаваемостью: Азеф.



М. Добужинский. Из иллюстраций к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи», 1922 год.



А. Остроумова-Лебедева. Гравюра из цикла «Петербург», 1903 год.

Чрезвычайно любопытен тот факт, что в момент создания романа Андреем Белым прототип Липпанченко, Азеф, после того, как в 1908 году был разоблачен и заочно приговорен к смерти Центральным комитетом эсеровской партии, скрывается за границей, то есть пребывает в состоянии исчезнувшего из России Петра Верховенского. «Бесы» и «Петербург» связывались нерасторжимой связью: зловещий посредник и материализовался и возник в реальности, угаданный и предсказанный Достоевским, а затем замеченный, схваченный в главных чертах Андреем Белым. Действительно, после Нечаева это был деятель небывалых в истории революционных партий масштабов зла.

В конце десятых годов русское общество было поистине ошеломлено размерами провокации: Азеф, начавший службу в департаменте полиции в 1893 году, еще студентом вступивший в заграничный союз партии эсеров в 1899 году, уже через два

года, в 1901, становится «собирателем» партии (объединив Северный, Южный и заграничный союзы), а в 1903 — вождем «Боевой организации». Удачные теракты против хранителей режима и удачные же провокационные акты против товарищей по партии лишали деятельность Азефа какого бы то ни было идеологического оправдания. Но так же, как это было в случае с Нечаевым, феномен Азефа поспешили объявить «случайным и, конечно же, единичным явлением». Разглядеть в этом явлении коренную болезнь революционной партии, провозгласившей принципиальное нарушение нравственной нормы новой, особой революционной нормой, выпало на долю Андрея Белого.

Липпанченко, близнец Азефа, в контексте романа «Петербург» оказывается роковым, фатальным порождением среды, в которой реабилитировано насилие. Раз «акт террористический свершает нынче всякий», провокация, выживающая только в обстановке тотального нарушения нравственной нормы, неизбежна, а значит, неизбежен и Азеф — Липпанченко. И еще оказывается: хозяином положения, истинным лидером является именно провокатор — наименее всех связанный с какой бы то ни было идеей, теорией, программой, лишенный любых представлений о чести и норме порядочности, он держит нити событий и судеб; от него зависят жизни отца и сына Аблеуховых, террориста Дудкина, мелких исполнителей-агентов.

Для революционера-фанатика идея лидерства провокации, порождающей ложь и цинизм, должна быть неминуемо погибельной. В какой-то момент Дудкин вдруг ощущает неладное: «Неделями я сижу и курю; начинает казаться: не то!» Этот мотив, столь знакомый по «Бесам», доведен в «Петербурге» до физиологического предела, в чем и отдает себе отчет Дудкин. «Чувствовал физиологическое отвращение; убегал от особы все эти последние дни, переживая мучительный кризис разуверенья во всем. Но особа его настигала повсюду; бросал ей насмешливо откровенные вызовы; вызовы принимала особа с циническим смехом».

Деградация, вырождение и гибель революционной партии от ею же порожденной провокации и воинствующее торжество провокации, подменившей собою все остальное,— вряд ли такая политическая развязка была для Андрея Белого лишь «внешним приемом». Скорее в этом заключался его вариант ответа на вопрос, который, помимо Булгакова, задавала себе думающая Россия, обожженная опытом терроризма, переживавшая драму убийства Столыпина агентом охранки, а до этого изнуренная нескончаемой охотой на царя.

Общество, переживающее состояние непрерывного и привычного террора, адаптируется к нему ценой жестоких моральных потерь. И не только моральных: оно теряет жизнеспособность, утрачивает представление о нравственной норме.

Злоупотребление внешними приемами Достоевского, или, иначе говоря, солидарность с политическими решениями автора «Бесов» характеризует и другую сторону концепции «Петербурга» — проблему ответственности за духовную болезнь, поразившую Россию. Несомненна ответственность Аблеухова-старшего, бессердечного, как машина, государственного чиновника, закрытого для идей обновления и демократического преобразования.

Несомненна вина всех российских аблеуховых за тупое сопротивление всем мирным, ненасильственным попыткам реформ. Но никто и никому не давал права, утверждает А. Белый, убивать жалкого в сущности старика, немощного и несчастного. Никто не вправе чувство неприязни сына (Аблеухова-младшего) к отцу использовать в «выгодах» партии и направлять их на революционное возмездие — отцеубийство.

Если применить к героям «Петербурга» классификацию «Катехизиса», то очевидно, что сенатор относится к первой категории лиц «поганого общества», к тем, кто особенно вреден для революционной организации и потому осужден на уничтожение в первую очередь. Недалеко здесь и сенаторский сын — его место в третьей категории, там, где «множество высокопоставленных скотов или личностей... пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой»; их предлагается всячески опутывать и эксплуатировать, превращать в послушных марионеток и рабов. Именно по такой схеме строят лидеры партии свои отношения с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым.

Вина и ответственность Аблеухова-младшего за преступный замысел отцеубийства в романе доказана. Он дал повод думать о себе как о возможном отцеубийце.

Аблеухов виноват и, бесспорно, несет ответственность за то, что «в мыслях своих дал себе полный простор»,— за тот план технического воплощения замысла, которому он позволил сложиться в воображении. Да, было: в голове не раз пролетал план — подложить консервную коробку-сардинницу с бомбой под подушку, попрощаться с «папенькой», в пуховой постели дрожать, тосковать, подслушивать и ждать, и когда грянет, разыграть свою роль до конца, вплоть до похорон, до следствия, на котором будут даны показания, бросающие тень...

«Следы» Достоевского явственно обнаруживаются и в том, как звучит в «Петербурге» ставрогинский мотив «отказа от соучастия». Однажды разрешенная, пущенная в сознание мысль о бомбе, бесконечно раздражающая, возбуждающая и неотвязная, толкает к самому краю бездны, к самой бомбе — «сардиннице ужасного содержания», проклятой жестянке. И только тогда, когда события вдруг вырвались из-под контроля, когда бомба в его руках обрела собственную почти непреклонную волю, Николай Аполлонович смог остановиться.

Понадобилось пережить умопомешательство человека, проглотившего тикающую бомбу, потребовалось свалиться в бездну, которой хотел и — главное! — мог избежать, чтобы вырвать себя из паутины страшного соблазна и сказать самому себе: «Нет!»; чтобы в этой пошлой жестянке, претендующей на тело немощного старика, увидеть символ конца мира, образ тотального разрушения, напоенного испорченной кровью Старинного Дракона, пожирающего пламенем все вокруг; чтобы принять над собой правый суд по законам и правилам мудрости.

«Суд наступил.

Течение времени перестало быть, все погибало.

— Отец!

— Ты меня хотел разорвать, а от этого все погибает».

И когда до гибели мира остается всего двадцать поворотов ключа и стены мира должны рухнуть на исходе ночи, рождается в Аблеухове непреклонное презрительное «нет», в лицо брошенное Дудкину.

Рождается гнев и злость на тех, кто обманом вовлекал, заманивал: «Это вы называете выступлением, партийной работой? Окружить меня сыском, всюду следовать... Самому же во всем разувериться... Я дал обещание, предполагая, что принуждения никакого не может быть, как нет принуждения в партии; если у вас принуждение, то вы — просто шаечка интриганов... Ну что ж?.. Обещание дал, но...— разве я думал, что обещание не может быть взято обратно...» И самое главное: «Я отца не любил... И не раз выражался... Но чтобы я?.. Никогда».

«Дважды Достоевский» мотив — искупительного неучастия в отцеубийстве и презрения к партийным интриганам-мошенникам — выражен в «Петербурге» как источник нравственного перерождения человека. Ставрогин, герой «безмерной высоты», отказался возглавить «движение», потому что ему «мерзило» и потому что у него были привычки порядочного человека. Аблеухов — смешной и нелепый, неудачник, «красный шут» — отказывается от роли рядового исполнителя, испытав «потрясение жизни», «будто слетела повязка со всех ощущений».

И уже справившись с собой, уже одолев страшное ощущение, «будто терзают на части, растаскивают в противоположные стороны: спереди вырывается сердце, а из спины вырывают, как из плетня хворостину, твой собственный позвоночник», Аблеухов понимает, что он пережил,— ужас, ужас.

Пророчествующим «от Ужаса», одержимым от Ужаса назвал Андрея Белого Вячеслав Иванов. «Сардинница ужасного содержания», хоть и не убила сенатора и не развалила стены старого мира, все-таки взорвалась в назначенное время, на исходе ночи. Взорвалась вроде бы по недосмотру — но следуя железному механическому правилу первотолчка.

Бомба, тикающая в утробе России, могла взорваться от любого неосторожного движения, от любого случайного прикосновения. Чьи руки не дрогнут, чье сердце не истомится, кто дерзнет поставить сардинницу на нужное время и повернет ключик? Кто не будет мучиться ужасом? Кто посмеет?

И Дудкин в ясновидении белой горячки, в преддверии страшного своего конца отчетливо — «наизусть» — осознает: «Будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом — все провалится; О, кружитесь, о, вейтесь, последние дни!»

Впрочем, об Андрее Белом, как в свое время о Достоевском, в связи с нечаевской историей было сказано высокомерно и безапелляционно: революции 1905 года он «не понял».●



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ — ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ, НЕ УЗНАВАЯ СЕБЯ



Ю. Латынина

Уроки «Вех»

В книге А. И. Солженицына «Бодался теленок с дубом» есть примечательный эпизод. Раздосадованный тем, что любимый им «Новый мир» опубликовал статью, пронизанную марксистской догматикой, где между делом дважды «охаян» сборник «Вехи», писатель задает вопрос:

«— Александр Трифонович, вы «Вехи» читали?»

Выясняется — нет, и даже толком не слышал.

— Вы обязаны найти «Вехи» для Александра Трифоновича,— не унимается Солженицын, обращаясь уже к ближайшему сподвижнику Твардовского.— Да вы сами-то читали их?

— Нет.

— Так надо!

— Мне — сейчас — это — не надо,— следует холодный ответ...

— Великие книги — всегда надо,— настаивает Солженицын.

Маловероятно, однако, что,прочтя «Вехи», те, к кому был обращен призыв Солженицына в 1969 году, расположились бы к этой книге.

И дело не только в том, что в течение долгих десятилетий рядом с названием «Вехи» тотчас возникало ленинское определение «энциклопедия либерального ренегатства», не только в том, что все учебники и энциклопедии внушали: участники «Вех», в прошлом — «близкие к легальному марксизму люди... докатившиеся до открытой защиты и восхваления реакции», «воспевают полицейское государство и власть предержащую». В шестидесятых годах успешно разгребали завалы подобной словесной шелухи. Но идеология шестидесятничества, как она последовательно развивалась «Новым миром» Твардовского, базировалась именно на тех ценностях, которые подвергали пристальной ревизии авторы «Вех».

Потребовалось еще одно усилие времени, чтобы философы, воспитанные на марксизме, смогли публично сказать, что «шоковая терапия» «Вех» привела их в чувство и освободила от марксистской догмы, что это — книга «о нашей кровавой советской истории, написанная задолго до того, как эта история свершилась» (А. Ципко).

«Вехи» и русская интеллигенция

«Вехи» (подзаголовок: «Сборник статей о русской интеллигенции») — самый известный из сборников статей, посвященных русскими философами общественным проблемам. Вместе с «Проблемами идеализма» (1902 год) и сборником «Из глубины» (1918 год) «Вехи» составляют социальную трилогию русского религиозного ренессанса.

«Проблемы идеализма» — это еще чисто теоретическая, философская попытка переосмысления прогресса и социализма через идеи личности и религии.

«Вехи» и «Из глубины» — это уже социологический очерк манер нарождающегося тоталитаризма.

Современная политология любит различать две составляющих в тоталитарных движениях: это интеллигенты-аутсайдеры и атомизированный, оторванный от культурных корней «массовый человек». Общее между этими двумя составляющими — их отчужденность от традиционной общественной структуры.

Можно сказать, что «Вехи» и «Из глубины» посвящены соответственно описанию двух фаз этой трагической ситуации. В первой фазе интеллигент с торжеством несет в народ атеизм и нигилизм, во второй господствует «Смердяков, который возненавидит Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму» (Н. Бердяев).

Чем же интересны нам «Вехи» сейчас? И что так больно задело в них русскую интеллигенцию восемьдесят один год назад?

Большинство авторов «Вех» — Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, С. Н. Булгаков — начинали как марксисты. Давно ли Струве сочинял первый манифест РСДРП, который, по замечанию А. Авторханова, «был куда более революционным и радикальным, чем ранние писания самого Ленина»? Давно ли он, редактор заграничного «Освобождения», мог в «Проблемах идеализма» участвовать лишь под псевдонимом? Давно ли те же самые «Проблемы идеализма» критиковал будущий автор «Вех» А. С. Изгоев?

Феномен «кающихся марксистов» и — массовое явление XX века, и наиболее проницательные антикоммунисты рождаются из коммунистов же.

Но русские «кающиеся марксисты» в отличие от западных отходят от марксизма еще до попытки его реализации. Их неудовлетворенность — не от практики строительства коммунизма, но от философской противоречивости учения, заставляющей предвидеть братоубийство при воплощении его. Оттого это не практический переход от коммунизма к демократии, но философский пе-



Николай Александрович Бердяев (1874—1948), крупный русский философ, один из участников сборника «Вехи», основатель журнала «Путь» в Париже.

реход «от марксизма к идеализму». (Эта формула всего движения найдена в сборнике С. Булгакова в 1903 году.)

Сама озабоченность русского религиозного ренессанса социальными проблемами возникает под парадоксальным двойным влиянием Маркса и Вл. Соловьева. И если сейчас А. Гулыга укореняет русскую религиозную философию в российском и православном духе, то в тридцатых годах в своей фундаментальной, если не фундаменталистской «Истории русского богословия» отец Г. Флоровский увидел в ней «один из самых западнических эпизодов» в русском развитии.

Реакция на «Вехи» была столь болезненной и бурной именно потому, что критика исходила от бывших соратников, которые писали «в сущности, о себе и своем прошлом... о своих вчерашних страстнейших убеждениях, о всей своей собственной личности» (В. Розанов).

Только в 1909 году, немедленно после выхода сборника в свет, появилось 195 полемизирующих с ним статей. Вышло и множество антивеховских сборников: «В защиту интеллигенции», «На рубеже», «Вехи», как знамение времени», «По «Вехам». Интеллигенция в России».

И естественно, что книга, которую П. А. Столыпин назвал «одним из первых духовных плодов тех начатков свободы, которые понемногу прививаются в русской жизни», левой прессой была рассматриваема как «совершенно неожиданный предательский удар, нанесенный в спину теми, кто стоял все время в своих собственных рядах».

Надо сказать, оппоненты «Вех» не всегда утруждали себя поисками аргументов. «Mixtum compositum» из старых мистических рецептов и новейших демагогических платформ», «игра в руку врагов», «книга малодушных и испуганных», «проповеди как проповеди — усыпляют не хуже других»,— таких глубокомысленных упреков было пруд пруди, и мы не ошибемся, отнеся к ним же определение Ленина: «энциклопедия либерального ренегатства».

Было довольно и попросту личных выпадов. «В Струве сидит благонамеренный заяц — и он все ищет — трусливо и беспомощно, кому бы и чему бы ударить челом, и стукается лбом обо что попало, набив себе с дюжину шишек»,— таковы были философские аргументы Homo Novus'а (псевдоним А. Кугеля).

Но тот же Кугель перегнул палку. Его статья была выброшена из второго издания сборника «По «Вехам», как имеющая недопустимо личный характер, и редакция принесла Струве извинения.

И вовсе не эта — пусть даже наиболее многочисленная — группа отзывов представляет собой главный интерес.

В отличие от других общественных слоев интеллигенция существует лишь постольку, поскольку сознает себя интеллигенцией. Интеллигенция есть то, что она думает о себе. И «Вехи», как писал один из противников их, Н. Гредескул, «...положили начало весьма напряженному и глубокому общественному размышлению над вопросом о русской интеллигенции». «Вехи» и полемика вокруг них стали системой линз, сфокусировавшей самосознание русской интеллигенции.

И сейчас они помогают воспроизвести ее портрет.

Разумеется, в короткой статье этот портрет неизбежно огрублен до фоторобота, но, надеемся, не до карикатуры. Не у всякого среднестатистический размер обуви — не у всякого и пресловутое типичное мировоззрение. Как отнести упрек в типичном для интеллигенции атеизме к возмущенному «Вехами» Д. Мережковскому, который был максимально близок к веховцам требованием религиозного перерождения интеллигенции и максимально далек — отождествлением религиозного и революционного переворота? Как попрекнуть толстовцев признанием насилия?

И тем не менее уже то, что веховцы и их серьезные критики — преимущественно кадеты,— полностью расходясь в оценке качеств русской интеллигенции, полностью же совпадали в самом перечне этих качеств, делает нашу попытку небезнадежной.

«Комплекс несогласия»

«Несогласие с существующим было опытом всей русской культуры»,— писала Л. Я. Гинзбург в своей статье «Еще раз о старом и новом». «Русский интеллигент находил комплекс несогласия в себе готовым, вместе с первыми проблесками сознания, как непреложную данность и ценность».

Комплекс несогласия — вот что, пожалуй, служило основой самосознания русской интеллигенции, вот что выделяло ее в единую социальную группу. И сама интеллигенция понимала это несогласие прежде всего как протест против существующих государственных форм.

Именно на эту психологическую основу бытия русской интеллигенции и покусились «Вехи» прежде всего. Но в «Вехах» речь шла не просто о несогласии с государством, а об отчуждении как сущностной характеристике русской интеллигенции. Отчуждении от народа, от жизни, от истории.

«Не парадокс ли,— писал Изгоев,— что из партий наших самыми левыми считаются те, что ближе к виселице; что категория «левизны» оказывается напрямую связана с отчуждением от жизни».

Именно это отчуждение, для Булгакова, приводит к тому, что интеллигенция «творит историю по своему плану... рассматривая существующее как материал или пассивный объект для воздействия».

И не случайно культура интеллигенции ориентирована на молодежь: именно юношеский, не знающий жизни максимализм является в ней источником духовного опыта и руководства.

Как же отнеслись критики «Вех» к упреку в отчуждении?

Они признали его безоговорочно, но «не как упрек, а как точное определение их политической роли и задачи»,— писал П. Н. Милюков, один из лидеров кадетов, наиболее задетый «Вехами». Да, интеллигент — отщепенец, и именно потому строит новое. Он «оторван от своей исторической почвы» и потому может выбирать свой идеал «с рационалистической точки зрения. Таким идеалом, космополитическим, сверхнациональным и сверхисторическим являлся социалистический идеал» (М. Туган-Барановский).

Что ж, разве возражения несправедливы? Разве возможно развитие без отказа от прошлого? Все так. Но в своих возражениях оппоненты искажали мысль «Вех».

С. С. Аверинцев отметил, что революция предпочитает видеть в своих противниках людей вчерашнего дня и не замечать, что сама создает их.

Намеренно или не намеренно, но критики возражали не веховцам, а ортодоксальному консерватизму, который, по выражению Бердяева, меряет текучее настоящее и текучее будущее текучим прошлым, а не вечным.

И у консерватора, и у революционера, писал позже в сборнике «Из глубины» С. Франк, «...одинаковое непонимание органических духовных основ общежития, одинаковая любовь к механическим мерам внешнего насилия и крутой расправы, то же сочетание ненависти к живым людям с романтической идеализацией отвлеченных политических форм и партий».

«Вехи» не звали интеллигента превратиться в бюрократа; наоборот, механическую вражду этих двух слоев они объясняли их психологическим сходством. Связь с прошлым была для веховцев не самоцелью, а гарантией развития. «Вехи» предлагали заменить тотальное и потому утопическое отрицание существующего государства прагматическим подходом к реальности, но положить в основу этого компромисса внутреннюю отрешенность от государства.

Осторожность, что не в чести на Руси? Абстрактная философия?

Отнюдь нет — самый прагматический путь. Отказ от него вел к двум вариантам: либо красная, либо черная сотня, либо правительство, основанное на идее перманентного разрушения; либо «отвратительное торжество реакции», при котором «государственный испуг превратился в нормальное политическое состояние» (как выражался Струве, которого критики «Вех» единогласно нарекли главным защитником правительства.)

«Весь мир насилья мы разрушим...»

Сочувствие революционному насилию — при отрицании, естественно, права правительства на подобные же действия,— было одним из следствий комплекса несогласия.

«Трудно этому не радоваться»,— читаем мы в мемуарах Т. Л. Сухотиной-Толстой об убийстве Плеве. «Так сильно озлобление (коллективное) и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террор сейчас»,— писал А. Блок.

Чудовищное неравенство положений? Да, но на чьей стороне ощущали преимущество те военные, которые, едучи мимо на санях (то есть по каким-то своим мирным делам), были беспощадно избиваемы мирной демонстрацией девятого января? Владельцы горящих поместий перед крестьянами с вилами? Тот мальчик с корзинкой, которого вместо царя убила бомба Рысакова, или те сорок человек, что погибли при взрыве на даче Столыпина; да просто все жертвы революционного насилия, коих набралось, по данным Государственной думы, двадцать тысяч человек к 1907 году?

Не одни марксисты полагали, что «революционный терроризм» — единственное средство «сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества» (К. Маркс). Большевики, по удачному выражению Зиновьева, лишь употребляли «террор не в розницу, а оптом» и несообразной жертве собой предпочитали историческую целесообразность принесения в жертву других.

В оправдании революционного насилия над правом, над личностью, над обществом и увидели «Вехи» ту пропасть, которая поглотит любые благие намерения революционеров.

Русским интеллигентом руководит уверенность, «...что одним лишь беспощадным устранением врагов отечества можно установить царство разума... и разрушение признано не только одним из приемов творчества, а... целиком заняло его место»,— пишет С. Франк.

Насилие для Франка — не то, чем пользуется революционер, а то, что формирует его психологию. Именно через насилие из «великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям».

И как это ни парадоксально, именно из веры в насилие вытекает вера в социализм: как на место созидания интеллигенция ставит борьбу, так и на место производства ставит она распределение.

«Душа социализма есть идеал распределения, и его конечное стремление действительно сводится к тому, чтобы отнять блага у одних и отдать их другим» (С. Франк).

Насилие не созидает ничего, кроме самого себя, настаивают «Вехи». Оно неизбежно приводит к торжеству самых крайних течений, которые «очень быстро овладевают всем, не встречая почти никакого отпора со стороны умеренных» (А. Изгоев), и вот уже «субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры «оказываются» не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата» (С. Франк). (Именно на такой трагической беззащитности радикализма «слева» строит свою философию истории Солженицын.)

Реакция русской интеллигенции на осуждение насилия была двойственной.

С одной стороны, ничего не оставалось, как повторить еще раз: «революция прежде



Петр Бернгардович Струве (1870—1944), русский экономист, философ, публицист. Теоретик «легального марксизма», один из лидеров кадетов, редактор журнала «Русская мысль». Участник сборника «Вехи» (1909). Эмигрировал из России.

всего разрушительна, и в этом ее великое благо».

С другой стороны, кадетам представилось чрезвычайно несправедливым обвинение в том, что эксцессы революции — закономерное следствие их программы. Милюков негодовал: упрекать в экстремизме тех, кто с ним борется,— совсем уж все валить в одну кучу.

И действительно, предупреждение «Вех» о неизбежном торжестве крайностей соблазняет к слишком линейному взгляду на историю, позволяя числить в одной рубрике кадетов и большевиков. Но, увы, история подтвердила именно логику «Вех», оставив нам размышлять лишь о неизбежности такого исхода событий...

Атеистическая религия?

Атеизм русской интеллигенции входил в общий комплекс несогласия с существующим. Отчуждение от государства влекло за собой отчуждение от церкви. В России не было протестантизма, где интеллектуальная, экономическая и религиозная реформы могли бы шагать рука об руку; интеллигент и раскольник были не меньшими духовными антиподами, нежели интеллигент и жандарм.

Так или иначе, для русской интеллигенции из желания обустроить град земной вытекало отрицание града небесного.

Авторов «Вех» объединяло противоположное убеждение в том, что «...положительные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания».

«Ты несчастлив на земле — молись, и Бог поможет тебе выиграть двести тысяч» — так, с веселым зубоскальством, было угодно резюмировать Н. Игнатову идею «Вех».

«Вехи» ставили вопрос иначе: не хотите молиться Богу — будете молиться идолам.

«Последовательный атеизм не удается»,— писал позже единомышленник веховцев Б. Вышеславцев. «Он переходит в атеистическую религию, ибо человек всегда что-то признает истинно-сущим и истинно-ценным». «Религиозное чувство всегда имело свои корни в бессознательном, и вот эти корни, не культивируемые больше сознанием, начинают порождать страшные и уродливые атавизмы».

Светлое царство коммунизма еще таилось в будущем, скрывая библиографические данные святого писания и дату рождения нового мессии. Но «Вехи» уже углядели его приметы в поведении интеллигенции, являвшем «...все формы религиозности без ее содержания»: «... легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения...» (П. Струве).

Призыв к религиозному утверждению социальных идеалов и был тем рычагом, которым «Вехи» хотели перевернуть интеллигентское сознание. Не отрицание демократии, но убеждение, что «...без веры может обойтись деспотизм, но не свобода» (как сказал Алексис де Токвиль),— вот политический пафос «Вех».

«Народа водитель и одновременно народный слуга?»

Русская интеллигенция служила народу и жертвовала ради него жизнью. Комплекс вины перед народом, который вдохновлял на «хождения в народ» и на оправдание крестьянских бунтов, был ее отличительной и прекрасной чертой.

Но задача русского интеллигента, шедшего в народ,— не научиться у народа, а научить народ. Из писателей-народников лишь Глеб Успенский, пожалуй, почувствовал, что народ не просто «необразован» — что он качественно иной. Лучшие публицисты, этнографы, бытописатели, «сея разумное, доброе, вечное», считали, что засевают целину, а не тысячелетиями паханную землю.

В традиционном народопоклонничестве, и одновременно в отношении к народу как «к объекту спасительного воздействия, как к несовершеннолетнему, нуждающемуся в няньке для воспитания к «сознательности» (С. Булгаков), и увидели веховцы гибельное противоречие.

«Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности... и не могли понять, что душа народа — вовсе не tabula rasa, на которой без труда можно чертить письмена высшей образованности»,— писал М. О. Гершензон.

«Вехи» предупреждали, что интеллигенция создает опасный прецедент идеологической диктатуры от имени народа, что такая патерналистская структура сознания губительна уже тем, что оправдывает насилие над народом во имя народного же блага.

Оппоненты «Вех» безоговорочно согласились с тезисом об отчуждении интеллигенции и народа. Но в отчуждении этом, по их мнению, виноват сам народ, а точнее — масса, «...которую интеллигентское еретичество застало на слишком низком уровне развития». И преодоление его — в том, чтобы народ дорос до идеалов интеллигенции. И о какой опасности тут может идти речь? «Стремясь сделать людей сытыми, социалисты-интеллигенты находятся в полном согласии с пожеланиями большинства и, значит, в насилии над ним не нуждаются»,— недоумевал Туган-Барановский.

Оппоненты «Вех» отстаивают общепринятое для интеллигенции представление о революции 1905 года как о переходе народа на ее сторону; разве это одно не опровергает идеи о качественно иной народной душе?

Нет, не опровергает,— отвечают «Вехи»: народ, проникаясь идеалами интеллигенции, не утрачивает своего от нее отчуждения.

Интеллигенция влияет на народ. Но как? Она разрушает сложившиеся тысячелетиями культурные и социальные основы, утверждает Булгаков, описывая, по сути дела, атомизацию общества, превращение народа в толпу, которой вместо общепринятых нравственных ценностей руководит коллективная паранойя.

Победа идеалов интеллигенции в народе будет одновременно уничтожением и народа, и интеллигенции — вот что предсказывали «Вехи» и вот чего не захотела услышать русская образованная публика.

Личность или общество?

Рассуждая о роли личности в истории, Г. В. Плеханов отметил: личность в истории никакой роли не играет, но именно фаталистические течения дали миру наиболее стойких и целеустремленных подвижников.

Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга — это сделанное Вл. Соловьевым ироническое резюме мировоззрения интеллигенции не могли затмить никакие теории «разумного эгоизма».

Личная жертвенность русской интеллигенции вытекала из примата общественного над личным, и в этом веховцы увидели опаснейшее противоречие. «Что может значить формула — свободное развитие личности, если понятие личности... есть продукт истории, формальное единство «я»?» — писал Булгаков еще в «Проблемах идеализма».

«Интеллигенция наша дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места для личности, дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет места для личности, дорожила смыслом прогресса и исповедовала философию, в которой нет места для смысла прогресса»,— писал Бердяев.

На вопрос, «кто первый — личность или общество?», интеллигенция отвечала: «общество», а «Вехи» отвечали: «Бог». И лишь через него — личность, как связующее звено между историей и Богом.

Героизм и подвижничество — так назвал Булгаков эти две противостоящие друг другу концепции личности.

Героизм — это максимализм целей, влекущий за собой максимализм средств. Это стремление немедленно осчастливить человечество, ведущее к раздорам уже потому, что у каждого героя своя программа спасения.

Героизм — это прежде всего внешняя деятельность, в противовес подвижничеству как «внутреннему устроению личности».

Но что такое «внутреннее устроение личности»? Это ни в коем случае не «внешняя пассивность... примирение со злом... бездействие и даже низкопоклонничество» (С. Булгаков).

Безусловный суверенитет личности и призыв к внутреннему самоуглублению для «Вех» — не отрицание общественных идеалов, а единственно правильный путь их решения.

Революционный и личностный принципы для «Вех» несовместимы. Установление всеобщего благоденствия механическим путем революции само по себе подразумевает подавление личности как источника внутренней трагичности бытия. Личность есть безусловное начало, и если ее отрицать во имя грядущего счастья,— так и доотрицаешься до конца.

Призыв к утверждению общественных идеалов через личность, а не помимо нее, встретил с непониманием.

Наименее проницательные, приписывая «Вехам» лишь старую и, разумеется, реакционную «проповедь личного совершенствования», тут же с торжеством указывали, что веховцы сами этой проповеди противоречат. Хотя противоречие существовало лишь между приписанными веховцам идеями и теми положениями, что опровергают приписанное.

Чуткие критики признавали безнравственными «обвинения, направленные против утилитаристских стремлений интеллигенции и соединенные с советом углубиться внутрь себя для того, чтобы сделать удачнее то практическое дело, которое не сумели сделать теперь» (Н. Игнатов). Что ж, следуя этой логике, можно найти безнравственным рецепт: «Будьте как дети, ибо их есть царствие небесное».

«Вопрос о примате личности, поднятый до победы революции»,— возражал «Вехам» Милюков,— есть «...идеологический лозунг всех реакций». Вот после революции — другое дело.

Но, увы, мы так и не дождались от победившей революции уважения к личности.

Отношение к праву

На первый взгляд, особняком среди других статей «Вех» стоит статья Б. А. Кистяковского «В защиту права». Другие авторы упрекают интеллигенцию в измене абсолютным ценностям. Кистяковский ведет речь о ценности формальной, о том, что правосознание русской интеллигенции «...никогда не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства». Это касается как славянофилов, считающих правовые, механические гарантии за признак зла и разложения души народной, так и крайних западников. Как типичный пример Кистяковский приводит речь Плеханова на Втором съезде РСДРП: «Если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться».

Кистяковский с тревогой отмечает, что «правосознание нашей интеллигенции находится на стадии развития, соответствующей формам полицейской государственности», и наряду со стремлением заменить право этическими принципами она обнаруживает пристрастие к мелочной регламентации и веру в бесчисленные резолюции.

И надо сказать, что резолюции множества общественных собраний, посвященных «Вехам», где констатировались «наличность в упомянутой книге грубых внутренних противоречий» и «несправедливое отношение к прошлым и настоящим заслугам лучших

представителей русской общественности...», вполне подтверждали диагноз.

Однако серьезные оппоненты выделяли статью Кистяковского, были готовы с ней согласиться и противопоставляли его другим авторам. Между тем внутренняя гармония статьи с остальным сборником несомненна.

«Вехи» не отрицают материальную сферу ради духовной, но воспринимают их как две иерархические ступени бытия, равно противостоящие небытию идеологии. Уважение к осмысленности, к софийности мира, идущее от Вл. Соловьева или — еще глубже — от особенностей православия, проходит через все русское религиозное возрождение. От «Философии хозяйства» Булгакова до «Духовных основ общества» Франка — всюду мы встречаем ту мысль, что «все механическое, извне налаженное и объединенное в человеческом обществе есть лишь внешнее выражение внутреннего единства и оформленности», что творение «имеет свою собственную божественность».

Отрицая «атеистическую религию материального благополучия», «Вехи» отрицали не утилитаризм, но то нарушение «духовных пропорций, благодаря которому частичная истина, получая не принадлежащее ей место, из полуистины становится ложью» (С. Булгаков).

Это-то уважение к софийности мира и позволяет Гершензону назвать западную буржуазию с ее эгоизмом и самоутверждением «бессознательным орудием Божьего дела на земле», а Франку — отнюдь не с раннехристианским пафосом писать, что «нищие не могут разбогатеть, если посвящают все свои помыслы одному лишь равномерному распределению тех грошей, которыми они владеют».

Чужаки или еретики?

«Вехи» не были для интеллигенции чуждой верой. Это было нечто худшее — ересь. К ереси труднее прислушаться, нежели к чуждому вероучению. В «Вехах», как и во всякой ереси, речь шла не об отрицании идеалов интеллигенции, но об утверждении их на иной, трансцендентной и личностной основе. И, как всякая ересь, «Вехи» отрицали справедливость и избранность нынешних носителей веры.

Если пафос сборника — в отрицании особой выделенности интеллигенции, то пафос противников «Вех» — в дальнейшем обособлении интеллигентского сознания. Они вновь подчеркивают, что «надежда на себя, на свои силы, на свое провиденциальное назначение в деле спасения России составляет неоспоримую принадлежность нашей интеллигенции» (Игнатов).

Если «Вехи» избегают прямых определений интеллигенции, чувствуя неизбежную их неполноту, то серьезные критики «Вех» как раз заняты разработкой таких определений.

П. Милюков пишет об интеллигенции как о «социальном чувствилище», создающем народ из «однородной этнографической массы».

Для Д. Овсянико-Куликовского интеллигенция «...есть мыслящая среда, где вырабатываются умственные блага, то есть духовные ценности».

Как? Неужели никто, кроме интеллигента, их не вырабатывает? И кто же тогда создал всю мировую культуру? И как живет русский народ без духовных ценностей — ведь он еще не усвоил идеалов интеллигенции? Современные политологи обычно помалкивают о «духовных ценностях» и предпочитают видеть в интеллигентах людей, «...которые имеют власть над словом письменным и устным... но не несут ответственности за практические последствия этих слов» (Дж. Шумпетер), или попросту — «поставщиков идеологий» (Р. Арон).

Но для Овсянико-Куликовского «...фазис идеологии есть начальный фазис напряженной выработки духовных ценностей». После успеха идеологии в «отсталой массе» она теряет все свои недостатки, связанные с ее творческим характером, и становится «духовной ценностью».

Увы! История свидетельствует: все может смениться в идеологии, и лишь ее отрицательные черты всегда при ней.

Итоги «Вех»

Сегодня мы можем сказать: опасения авторов «Вех» сбылись.

Революция кончилась утверждением социалистических идеалов, которые, воплощаясь, отрицали самое себя и своих носителей.

Но значит ли это, что могли сбыться и их надежды, что возможен был духовный поворот интеллигенции?

«Еще десять — двадцать лет дружной, упорной работы — и Россия, бесспорно, вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа» и «ненародностью образования...» Но «этот оздоровительный процесс был сорван большевистской революцией». Эта оценка дана в воспоминаниях Ф. Степуна, высланного из СССР в 1922 году.

Оценка Бердяева куда пессимистичней: «У нас был культурный ренессанс, но неверно было бы сказать, что был религиозный ренессанс. Для религиозного ренессанса не хватало сильной и сосредоточенной воли, была слишком большая культурная утонченность... и этот высший культурный слой был слишком замкнут в себе».

Нельзя не заметить, что мир ренессанса в этой характеристике несет на себе родовые черты интеллигенции: отсутствие воли и «замкнутость» (хотя отметим, что «замкнутость» не есть синоним «отчужденности»).

«Вехи» не совершили переворота в умах интеллигенции, но наметили в ней глубокий разлом.

Октябрь семнадцатого углубил этот разлом. Равно неприемля большевиков, одна часть интеллигенции продолжала хранить верность старым убеждениям и до последнего вздоха твердить, что в подготовке большевизма «при самом настойчивом желании русскую интеллигенцию упрекнуть невозможно» (С. Рафальский).

Другие же, к примеру В. И. Вернадский, увидели в Февральской революции пролог Октябрьской и признали: «Но ведь поколениями русская интеллигенция подготовляла (и с какой энергией и страстностью) этот строй...» «Полученный результат освещает весь процесс».

Кто прав в этом споре?

Возможен ли был бы приход к власти большевиков, если бы не «высокоисторическая глупость» всех тех, кто «...без глупости... не был бы героем; во всяком случае, не был бы интеллигентом»? (Л. Гинзбург).

И если да, то можно ли обвинять изобретателя пороха Бертольда Шварца в убийстве всех, погибших от огнестрельного оружия; Колумба — в гибели индейских цивилизаций?

Восемьдесят один год прошел со времени публикации «Вех». Та русская интеллигенция, к которой обращались ее авторы, исчезла. Очень сомнительно, имела ли «прослойка» трудящейся интеллигенции что-либо общее со старой русской интеллигенцией и не показалось ли бы ей самоопределение интеллигенции как «мыслящей среды, где вырабатываются духовные ценности»,— не ересью гордыни, а ересью рефлексии?

Но вот тоталитаризм в прошлом, и ситуация вновь напоминает 1905 год. Конечно, надо обладать слишком пылким прогосударственным воображением, чтоб уподобить разрушение коммунистической партии разрушению России, а в демократических реформаторах увидать социальных экстремистов.

СССР — все-таки не тысячелетняя Россия, а просто насилием укрепленный мираж. Но даже государства-миражи, обрушиваясь, погребают под собой миллионы людей.

Как бы мы ни называли совершающийся ныне процесс — перестройкой, демократизацией, возрождением, революцией или контрреволюцией,— речь идет о пересмотре ценностей, утвержденных семнадцатым годом.

Страна вновь на пороге перемен, когда насущен призыв глубокого внутреннего неприятия неорганического режима и вместе с тем отказ от внешнего насилия, когда снова актуальна «веховская» идея сочетания христианского духовного максимализма с социальным реформизмом.

Сборник «Вехи» уверенно предсказывал русской интеллигенции, если она не одумается, гибель и поругание. Сборник «Из глубины» столь же уверенно предсказывал, что в революции социализм доказывает онтологическую невозможность своего существования и потому национальное, духовное, государственное возрождение России — лишь вопрос времени.

Это возрождение и есть контрреволюция в том значении слова, которое предуказал ему Жозеф де Местр: не революция наоборот, но противоположность революции. Это духовная реакция на революцию, осмысление ее уроков и отвержение ее идей, в том числе и идеи насильственного, механического переустройства общества. ●



В. Серов, «Деревня», 1898 год.

Начало на стр. 53

Игнатьев пишет карандашом: «*Верно. Трудовой принцип во всей только нашей деятельности чуть ли не с колыбели! В этом наше спасение*».

«*Школьная жизнь должна нормироваться исключительно определенными уставами, правилами и инструкциями, установленными законом. Принято большинством против одного*».

Игнатьев по этому пункту замечает: «*Присоединяюсь к меньшинству*».

«*С этим я не согласен*», «*Спорно*», «*Этот вопрос необходимо разработать*». Министр радуется, когда рожденная съездом мысль оказывается его заветной, может, даже опережает ее. «*Прекрасная мысль!*». Но издать приказ о немедленном упрощении орфографии — творении истории? Но устроить всеобщие выборы всех директоров и преподавателей? «*Это еще надо обдумать. Готовы ли к этому по всему лицу земли русской?*»

Надо обдумать. Готова ли наша школа перенять опыт школьного английского и французского самоуправления? (Игнатьев замечает на полях: «*С осторожностью*».) Нужны ли ученические «суды чести», возникшие позже, в двадцатые годы, и как будто ставшие прообразом сталинских «пятерок» и «троек»? (Министр размашисто пишет: «*Не согласен. Против*».)

Он, один из последних старых министров народного просвещения, не претендовал на истину в последней инстанции. И у него не было, по собственному выражению, «волшебной палочки», с помощью которой можно моментально сделать все, что хочется, и так, как хочется, и всегда правильно...

Но, как замечали лично знавшие его люди, это был по рождению и воспитанию человек, «органически спаянный с нашей национальной стихией, а потому умеющий простым чутьем находить единственно правильную линию поведения». Может, отсюда у него это естественное чувство реального, необходимого, возможного, твердое ощущение некой грани, переходить которую нельзя вообще, и той, которую нельзя в данный момент, но можно будет позже, надо будет позже...

Эта удивительная реформа российского просвещения, отрывки которой перед нами, была трагически оборвана революцией. Но почему мы забыли ее? Почему мы все время начинаем сначала? Как будто до нас ничего не было на свете. Все умерли. Целые поколения навсегда ушли из жизни. Целые общественные пласты жили-были, а теперь вот — нет. Странно и страшно. Но вот же разрезаешь их неразрезанные газеты, разбираешь деловые бумаги, ученические тетрадки — и слышишь такие живые голоса, испытываешь такой напор общественного сознания,— в сущности, с теми же вопросами, той же полемикой, теми же человеческими устремлениями...

И если снова не услышим, если оборвем вконец истончившуюся нить традиции между ними и нами — с чем останемся?



Н. Гончарова, «Автопортрет».

НОВОЕ ИСКУССТВО РОДИЛОСЬ В РОССИИ

Р. Щербаков

Серебряный век

Помнится, в Подмосковье было невероятно грибное лето. Впавшие в азарт горожане и в будни, и в воскресенья уже с ночи направлялись с огромными кошелками в лес, а грибное половодье все не кончалось. Известная фраза «хоть косой коси» приобрела почти буквальное значение. Кое-кто поговаривал, что такой грибной урожай — по старой примете к войне, другие же твердили о благоприятном сочетании тепла и влаги. Примета, к счастью, не оправдалась, но и научное обоснование не кажется бесспорным. С тех пор не раз случалось жаркое лето и лили теплые дожди, но «третья охота» никогда не была столь успешной. Видимо, чего-то очень важного грибницам, укрытым прогретой и влажной землей, все-таки не хватало.

В те, уже давние годы я начинал заниматься творчеством символистов, а потому, переходя от одной манящей темно-коричневой шляпки боровика к другой, частенько вспоминал по странной ассоциации высказывание Марины Цветаевой: «После такого обилия талантов — Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилев, Кузмин, Мандельштам, Ходасевич — все это сидело за одним столом — природа должна успокоиться!» Да, действительно, поэтический урожай на рубеже столетий был невероятным. Ведь далеко не всех назвала Марина Ивановна. Понятно, что в этом списке нет Брюсова. «Героя труда», как известно, она не очень жаловала («Я забыла, что сердце в вас — только ночник, не звезда...»), но ведь выпали из него Андрей Белый и Вячеслав Иванов, Сергей Есенин и Владимир Маяковский, Зинаида Гиппиус и Борис Пастернак, Максимилиан Волошин и Федор Сологуб, Иннокентий Анненский и Велимир Хлебников, Николай Клюев и Иван Бунин... Длинный стол потребовался бы, чтобы разместить столько поэтических талантов.

Вряд ли культурная почва истощается по тем же законам, что и почва нив. Скорее, наоборот. Уже не раз в истории человечества бывали периоды, когда вспыхнувший в какой-нибудь стране факел знания или искусства с течением времени горел все ярче и ярче. Так было в древней Элладе, Флорентийской республике эпохи Возрождения, Франции времен энциклопедистов... И гасит этот факел не истощенность внутренних ресурсов, а неблагоприятные внешние обстоятельства.

Эпоха царствования Николая II связана с поразительным расцветом русского искусства. Не случайно Сергей Саковский, имея в виду прежде всего поэзию, назвал тот период «Парнасом серебряного века». (Золотым веком было, естественно, пушкинское время.) Но ведь и прозаикам не составило бы труда предъявить список великолепных мастеров. Еще творил Лев Толстой и Чехов, а уже заслужили европейскую славу Максим Горький, Короленко, Мережковский, Андреев, Бунин, Куприн... На художественных выставках полотна Репина, Сурикова, Васнецова, Верещагина, Левитана, Серова соседствовали с работами Бенуа, Сомова, Лансере, Бакста, Нестерова. Яростные споры вызывали Кандинский, Малевич, Шагал, Ларионов, Гончарова... Восторженная публика неистово аплодировала на спектаклях МХАТа и Мейерхольда, на бенефисах Ермоловой и Комиссаржевской, на концертах Шаляпина и Собинова, на музыкальных вечерах Скрябина и Рахманинова. А что касается балета, то уже тогда мы были «впереди планеты всей». Это, кажется, единственное первенство, которое удалось удержать.

Может быть, не столь убедительно, но все же явно наметился прогресс русской науки. Достаточно назвать имена Менделеева, Павлова, Вернадского, Умова, Жуковского, Шухова, чтобы уверовать в возможность лидерства отечественной научной мысли. Наши таланты росли, словно грибы. Похоже, в этом случае народная примета оправдалась — дело шло к войне. Сначала мировой, потом гражданской, а затем еще более страшной — необъявленной, тоталитарной. И уж тут-то все, что поднималось над средним уровнем, действительно, косили безжалостной косой, в лучшем случае отправляли насильно за границу. То, что чудом уцелело, показывает, как много потеряла нация. Но, безусловно, еще больший урон был нанесен талантам, которые не проявились: не родились, не получили образования, были изуродованы средой и просто попали в проскрипционные списки. Одним словом, процесс деградации культуры более или менее ясен, а вот почему начался ее расцвет? Вопрос этот, увы, однозначного ответа не имеет. Начать с того, что сам факт расцвета науки и искусства не



Интерьер. 1900-е годы.



К. Сомов, «Портрет М. Кузмина».

очень уж афишировался. Ведь при царизме, по нашей идеологии, все было плохо, а если уж случалось что-нибудь хорошее, то не благодаря, а вопреки. Поскольку шило в мешке утаить трудно, да и с определенного времени полагалось гордиться национальными талантами, то давалось простое социологическое объяснение. Во-первых, сказалась-де отмена крепостного права. Реформа, как неизменно отмечалось, была половинчатой. Вот если бы она проводилась радикально, талантов появилось бы еще больше. И во-вторых, нарождавшаяся буржуазия создавала общественный заказ на науку для пользы дела и на искусство для ублажения богатых. Предполагалось, что такой заказ, выданный уже не отдельными разбогатевшими ловкачами, а социалистическим государством, приведет к изобилию великих дарований. Из приведенного объяснения всем все должно быть ясно. И если кто-то так и не понял сказанного, то он или дурак, или не на своем месте, а его место — места не столь отдаленные.

К сожалению, в этом ответе много правды. Именно поэтому так трудно узнать всю правду. Откровенная стопроцентная ложь давно была бы отвергнута, но полуправда живуча, словно сорняк на возделанном поле. Классовая борьба, конечно же, объясняет многое в общественной и культурной жизни. Беда в том, что ею пользуются, как ломом, против всех хитроумных исторических замков. Безусловно, «против лома нет приема», а потому достигается внешнее подобие успеха, но при этом сам механизм разрушается, и уже невозможно понять, как он работает.

Прежде всего, что же истинного в социологическом ответе? Уже давно отмечено, что народные бунты и революции возникают отнюдь не в те моменты, когда тирания достигает своего апогея, а наоборот, при ослаблениях власти, при появлении ростков относительной свободы. Во Франции народ возмутился не при Людовике XIV, когда абсолютизм дошел до предела, а при Людовике XVI, склонном к либерализму.

Однажды будущий гражданин Капет спросил у дежурного офицера:

— Каковы ваши политические убеждения?

— Я монархист, сир, — последовал ответ.

— А я республиканец, — признался король.

За свои демократические убеждения он поплатился головой.

Наша страна не стала исключением из этого любопытного закона. Убили не Николая I, а Александра II. Самодержец Александр III умер естественной смертью, а его более либеральный отпрыск расстрелян в подвале. Смерть Сталина повлекла всенародный траур, а снятие его разоблачителя Хрущева не вызвало никаких народных волнений. Поэтому Манифест 17 октября, свобода печати и легализация радикальных политических партий только усилили тот глухой гул, предвестник будущих потрясений, о котором писал в «Вехах» П. Б. Струве.

Особенностью отечественной литературы является тот факт, что ее движущей силой служат не внутренние проблемы искусства, а общественная боль, народное горе. Как точно отметил Евгений Евтушенко, «поэт в России больше, чем поэт». А потому естественно, что «золотой век» совпал по времени с движением декабристов, а «век серебряный» — с борьбой народовольцев и социал-демократов против самодержавия. Наша вечно неустроенная российская жизнь, постоянный «пир во время чумы» сравнительно обеспеченных слоев населения приводили к тому, что лучшие умы и благороднейшие сердца вынуждены были неизменно ощущать комплекс вины.

Отсюда возникали ненависть к правительству, готовность к самопожертвованию, легенды о народе-богоносце, рассуждения о нашей особой миссии, непрекращающаяся фронда интеллигенции, оправдание революционного террора... Обращаясь к «грядущим гуннам», Валерий Брюсов писал: «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Этот политический мазохизм совершенно не был свойствен западной интеллигенции. Английский инженер, немецкий философ, французский поэт или швейцарский врач считали, что они делают свое дело для блага общества, что они кормят сами себя, и никто не вправе называть их «ликующими» или «праздноболтающими». А ткачи, пахари, плотники, делая свое, столь же нужное дело, нуждаются в помощи образованных слоев точно так же, как последние — в сукне и хлебе. Значит, квиты!

Всеобщий конфликт, инициированный затянувшимся феодализмом, неспособностью дворянства усвоить новую для него роль просветителя и организатора общественного производства, жадностью новоиспеченной буржуазии, глупостью вцепившегося во власть двора, спрессованной веками ненавистью крестьянства, мечтающего о землице, — эта борьба породила у творческой интеллигенции эсхатологическую тревогу, предчувствие неизбежных катаклизмов, ощущение скорого конца уже обжитого мира. Но раз «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», то это состояние неизбежно родило ту странную и пряную поэзию и прозу, которая характерна для предреволюционных лет. Н. А. Бердяев безошибочно отметил: «Поэты того предреволюционного времени были мистиками, апокалиптиками, они верили в Софию, в новые откровения, но в Христа не верили. Души их были не бронированы, беззащитны, но, может быть, поэтому они были открыты к веяниям будущего, восприимчивы к внутренней революции, которой другие не замечали». И тут, пожалуй, пора распрощаться с классовой теорией объяснения феномена «серебряного века» и посмотреть на ту же проблему совсем с другой стороны.



А. Головин. Портрет В. Э. Мейерхольда.

Утверждение Бердяева, что поэты эпохи fin de siecle не верили в Христа, справедливо лишь отчасти. В Христа не верили социал-демократы, поскольку для себя они одну религию заменили другой. Не случайно В. И. Ленин, относящийся к Гегелю с уважением, написал на полях его «Логики»:



Л. Бакст, «Античное видение», 1906 год.

«боженьки захотел, негодяй!» Что же касается русских поэтов, то здесь картина сложилась иная, сложная и пестрая. Человеку, воспитанному в христианской традиции, нелегко с маху сломать фундамент своего мировоззрения, но соглашаться со всеми канонами церкви, отлучившей от себя Льва Толстого, тоже было невозможно. Официальная церковь, как и все в устройстве тогдашней России, практически не была способна к прогрессу. И наиболее образованные умы начинали искать для себя всякие религиозные ниши. Мережковский, Гиппиус и Розанов пытались образовать церковников, дискутируя в Религиозно-философском обществе, Андрей Белый и Блок стали последователями Владимира Соловьева, Вяч. Иванов обратился к дионисианству, Эмис перешел в католичество. Проблема веры остро стояла и для многих других. Не случайно даже Горький и Луначарский одно время занялись богоискательством.

То, что сегодня подчас повторяется как фарс, в свое время стало для русских интеллигентов подлинной трагедией. Думается, что расцвет религиозной философии в эмигрантских кругах связан отчасти с чувством вины и предательства по отношению к христианству. Когда шедший «впереди Исус Христос» окончательно разошелся с революционными отрядами, бездуховность новой идеологии стала очевидной для очень многих, однако наиболее прозорливые и до этого опасались разгула народных страстей. Ведь в отношении политической культуры наш народ еще и сейчас вряд ли можно считать вполне дееспособным.

Помню, как нас всем классом принимали в пионеры. Мы стояли в белых рубашечках и кофточках, хором произносили трафаретный текст, а затем всем повязали галстуки. Этот коллективный переход на новую ступень политической иерархии не казался нам противоестественным. Значит, христианская традиция в нашем сознании оказалась окончательно разрушенной. Правда, обряд крещения совершается тогда, когда младенец еще не осознает важности свершаемого. Но впоследствии, уже сознательно, христианин подтверждает приверженность к своей религии. Тем самым к Богу каждый приходит самостоятельно, и этим подчеркивается важность личного выбора, непреходящая ценность каждой личности. Мысль о том, что «голос единицы тоньше писка» возникает только при скандировании лозунгов толпой. С Богом можно разговаривать молча, важно лишь состояние души.

Не будучи верующим, я отдаю должное христианской религии за то, что она, возможно, первой из общественных движений начала борьбу за «права человека», за самое важное право — быть самим собой. Вот это желание не раствориться каплей в массах, сохранить лицо и стало другим стимулом к творчеству. Не случайно Анна Ахматова вспоминает современников своей молодости как парад масок, где они представляются...

Этот Фаустом, тот Дон Жуаном,
Дапертутто, Иоканааном,
Самый скромный — северным Гланом
Иль убийцею Дорианом...

Конечно, такая жизнь под вечно надетой маской, заимствованной или придуманной специально для себя — загадочного мага или храброго путешественника, исступленного пророка или бездумного эпикурейца, городского повесы или создателя языка будущего, — была не очень естественна и довольно обременительна, но зато она давала возможность выделиться, сказать свое слово, идти не в ногу. Так рядом с полноводной рекой реализма заструились ручейки всяческих школ, течений и групп. Забурлила красочная карнавальная литература. И хотя много в ней было молодой бравады, веселого эпатажа, нарочитого нарушения традиций, далеко не все ее служители истекали клюквенным соком. Была и неподдельная боль за страну, и подлинная культура, и желание услышать и запечатлеть музыку своего времени, музыку революции.

Англичане говорят, что привидение вдвоем не увидишь. Истинное произведение искусства требует штучной и ручной работы, а на это способна только яркая индивидуальность. и если принять формулировку Бориса Пастернака, что «цель творчества — самоотдача», то невольно возникает вопрос: какие новые идеи и чувства могли сообщить своим читателям, зрителям и слушателям адепты модернизма?

Бесспорно, искусство может питаться лишь вечными темами: любви и смерти, красоты природы и быстротечности времени, невозможности выразить чувство в слове и недовольства современной молодежью... Извиняясь за старинный сюжет, Шекспир справедливо отмечал:

Все то же Солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

Однако лишь гению Шекспира или Пушкина, дерзко использовавшего рифму «морозы — розы», удается без потерь «ходить» проторенной тропой. Когда в поэзии, музыке, живописи один за другим появляются таланты, значит, пришло время провозгласить новую истину. Так было всегда, так случилось и в нашей культуре начала века. Что же изменилось в жизни русского общества и что это была за истина?



Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866—1941), русский писатель. Его романы проникнуты религиозно-мистическими идеями. Автор трилогии «Христос и Антихрист» (1895—1905). Автор многих стихов и критических статей. Уехал из России в 1920 году.

Прежде всего необходимо отметить, что реалистическое направление в литературе начало сдавать свои передовые позиции. В письме к Суворину Чехов признавался: «В наших произведениях нет... алкоголя, который бы пьянил и порабощал... У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся... Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Думается, что острота кризиса, переживаемого тогдашним искусством, несколько преувеличена в этой жалобе великого писателя. Его собственное творчество убеждает в том, что не так уж было все мрачно. И тем не менее русский модернизм вышел на поле боя, не имея сильного соперника. Психологическая почва для его появления в какой-то степени была подготовлена.

Другой приметой времени стал стремительный рост городов. И здесь мне тоже хочется опереться на высказывание современника тех событий. Борис Пастернак вспоминает: «С наступлением нового века на моей детской памяти мгновением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему».

С ростом городского населения у отечественной литературы появился и новый читатель со своими особыми вкусами, взглядами, моралью. Если в театре короля играет свита, то в литературе новое направление создает, как правило, читатель. Его пристрастия определяют стиль времени. Еще совсем недавно, балуясь на досуге словесностью, российский дворянин творил на потребу узкого круга своих единомышленников. Пушкин стал первым профессиональным литератором, существуя на гонорары. Прекрасный сборник Фета «Вечерние огни», изданный малюсеньким тиражом, расходился много лет. Но книги Мережковского, Бальмонта, Брюсова уже не залеживались.

Русские крупнейшие поэты предыдущих эпох, хотя и жили в городах, но, как правило, несли на своем творческом почерке неизгладимый отпечаток сельского детства, проведенного в усадьбе. Эти «деревенщики» первого призыва, воспевающие красоты природы, крестьянские беды и светские нравы, начали вытесняться пряной урбанистической поэзией, жесткой, эпатирующей, темпераментной, отмеченной признаками крайнего индивидуализма и эротики. Бодлеровские «Цветы зла» не могли вырасти на лесном проселке или сельской меже. Их место — городская клумба невдалеке от свалки. И в русском стихе вместо васильков и ландышей появились не только экзотические криптомерии, но и крапива.

Новый читательский пласт создал потребительский рынок, возможность выхода таких журналов, как «Северный вестник», «Мир искусства», «Весы» и «Аполлон», породил издательства «Скорпион», «Гриф», «Мусагет» и другие; еще важнее — он сформировал и врага модернистской школы. А какая же школа может сложиться без врага, издевающегося, хихикающего, недоумевающего и упрекающего новаторов во всех возможных грехах? Только такой враг создает геростратову славу, делает превосходную рекламу, а кроме того, вызывает желание разобраться во всем самому, вкусить запретного плода и возвыситься над профаном разъяснениями глубин изруганного всеми течения.

Враг этот формировался в основном не из среды высококультурной аристократии (они не унижались до спора), не из числа трудящегося люда (им было не до того), а из мещанского слоя, мещанского не по социальной принадлежности, а по своей духовной сути. Роль мещанства традиционно преуменьшается. Тихонечко отсиживается оно за плотно прикрытой и крепко запертой дверью, так что кажется — и нет его. В лучшем случае полагают, что эти люди ни на что не могут повлиять. Но это не так. Потенциальная энергия измеряется в тех же единицах, что и кинетическая. И в нужный момент ее вмешательство, увы, оказывается решающим.

Еще Герцен предупреждал, что даже далекое «торжество социализма» не победит духовный консерватизм, ибо человеческая душа — один из самых упорных материалов, и под румянами культуры, под напластованиями политических идей прекрасно сохраняются и даже развиваются готовые к всходу его семена. Обыватель жаждет стабильности. В отличие от Фауста он в любой момент готов остановить мгновение, ибо к существующей жизни он уже сумел приспособиться, но отнюдь не уверен, что сумеет сделать это столь же успешно в иных условиях. Разбираться в тонкостях политики, экономики, социологии ему не по силам, а потому весь свой консерватизм он переносит на более близкие и, как ему кажется, понятные явления: ширину брюк, раскраску вышедших «на тропу войны» девиц и, конечно же, «морально деградировавшую» литературу. Как отмечается в современном исследовании, «русский литератор не испытывал, пожалуй, никогда прежде ощущения столь текучего и зыбкого исторического времени», как на рубеже веков. Причем ощущение это было свойственно, безусловно, всем слоям населения. Но если у художников слова оно порождало надежды на то, что гнетущая действительность изменится, то у российских обывателей возникали совсем иные чувства: непонимания, недоверия и озлобленности.

Чем больше старалось модернистское искусство отгородиться от действительности — уйти в стилизованный мир прошлого, погрузиться в разработку совершенной формы своих произведений, воспеть внутренний духовный мир ушедшего от людей одиночки,— тем более обнаруживалась его связь с эпохой. Как отметил Александр Блок в предисловии к поэме «Возмездие», «мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной». Не случайно именно декадентская поэзия, казалось бы, наиболее глухая к общественным потребностям, первой сумела услышать отдаленный гул приближающейся революции, предугадать неслыханные жертвы и даже предвидеть атомный катаклизм. В поэме «Первое свидание» Андрей Белый писал:

Мир — рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой...

В обществе началось брожение, возникали политические и художественные течения, шли литературные споры и делались творческие открытия, западные идеи проверялись на русской почве, из народных глубин отбирались наиболее активные личности, из юношей, увлекавшихся марксизмом, формировались творцы отечественной религиозной философии... Г. В. Плеханов усмотрел в этом борьбу классов, А. Л. Чижевский сказал бы, что приближается беспокойный год Солнца, Л. Н. Гумилев, возможно, связал бы все это с пассионарностью, но какая бы причина здесь ни сработала, для обывателя развертывались события драматические. У служителей искусства было иное мнение. Можно было бы снова сослаться на Брюсова, Блока, Маяковского, но вот отрывок из письма 1913 года Игоря Грабаря к писателю А. Луговому: «...Я нахожу, что никакой «драмы» современного искусства нет. Ну скажите сами, какая же драма — женские роды? Не драма, а закон природы. Пусть это сопряжено с тяжелыми муками, пусть дело идет о борьбе между жизнью и смертью... — все же это не драма. Она неизбежна при всяких новых литературных, музыкальных, художественных, философских, общественных и религиозных родах: рождается «новое», и пока пуповина не отрезана, не могут судороги на лице роженицы смениться безмятежной улыбкой...» Как тут не припомнить крылатую глазковскую шутку:

Я на жизнь взираю из-под столика,
Век двадцатый — век необычайный:
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.

В сущности новое искусство было предупреждением, что время старой, патриархальной жизни кончилось. «Век девятнадцатый, железный» уходил в прошлое. Мировой водоворот, словно в рассказе Э. По «Низвержение в Мальстрем», все стремительней набирал обороты. В городах появились «электрические конки», в небо поднялись «летающие этажерки», радио связало континенты, Альберт Эйнштейн опубликовал свою гениальную статью по теории относительности. Константин Циолковский задумался об освоении ракетами космических пространств, Николай Федоров предложил оживить мертвых... Все эти события, открытия и мысли не могли не изменить облик искусства. И когда Валерий Брюсов писал: «Не знаю сам какая, и все ж я миру весть», он на самом деле призывал своих современников приготовиться к будущему, столь же неожиданному, энергичному и разнообразному, как его стихия.

Однако дар Кассандры — дар неблагодарный. Может быть, только теперь мы начинаем понимать глубинный смысл того искусства, которое было новым век тому назад. Задумываясь об уроках прошлого, начинаешь осознавать, какую историческую миссию обязана взять на себя интеллигенция. Не случайно, начиная со сборника «Вехи», во всех трудах наших замечательных мыслителей, которые постепенно к нам возвращаются — Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, А. С. Изгоева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова, П. И. Новгородцева,— проблема отношений «народа» и «интеллигентов» возникает вновь и вновь.

Совершенно ясно, что без широкого участия образованной прослойки любое общественное политическое движение грозит превратиться в русский бунт, «бессмысленный и беспощадный». Но вот готова ли сама интеллигенция к этой роли, каким образом воспитать ее, как предотвратить раскол среди людей, каждый из которых считает себя правым, можно ли нащупать дорогу к истине без бесконечных проб и ошибок?

Думается, здесь совершенно незаменимую роль могло бы сыграть искусство. И еще до захвата радиоцентра, вокзала и телеграфа революционеры должны «захватить» культуру. Только в эпоху застоя ее можно финансировать по остаточному принципу. В эпоху же перестройки, революционной ломки искусство должно властно выйти на авансцену истории. То, что в Россию в первые революционные дни вернулся Кандинский, Альтман украшал петроградские улицы, а Мейерхольд перенес театральное действо на городские площади, свидетельствует о том, что революция искусству не противопоказана. А вот когда за границу попросился Блок, когда сбежал Шаляпин и вывезли на двух пароходах лучших философов страны, стало очевидно, что «музыку революции» ее дирижеры исполняют совсем не по тем нотам и что властям уже не нужны ни пророки, ни мыслители, а только «инженеры человеческих душ». Впрочем, некоторые провидцы поняли это и раньше.

«Россия в ее настоящем виде, раздробленная на отдельные куски, лишенная доступа к морю, своих пшеничных житниц, национального правительства, Россия с уничтоженной промышленностью, с десятками миллиардов совершенно обесцененных бумажных денег, с поколебленными основами народного труда,— такая Россия существовать не может». Это цитата не из выступления современного оратора, она принадлежит Александру Изгоеву и написана в 1918 году. ●

ГРЕХИ НАШИ

Среди четырнадцати государств Россия по среднему душевому потреблению занимает следующие места: по водке в 40 градусов (0,61 ведра) — девятое; по виноградному вину (0,16 ведра) — восьмое; по пиву (0,29 ведра) — тринадцатое место...

Смертность от отравления алкоголем среди случайных смертей представляется следующей, с 1870 по 1887 год, в Европейской России:

Заедены зверями	**1246**
Убиты молнией	**9009**
Сгорели	**16 280**
Отравились	**18 000**
Замерзли	**22 150**
Самоубийство	**36 000**
Убиты	**51 200**
Умерли от опоя водкой	**85 200**
Утонули	**124 000***

Ближайшими причинами надо считать... отсутствие разумных развлечений, отсутствие мест, где можно было бы проводить время без спиртных возлияний, недостаток свободного времени, невзрачность своей домашней обстановки, укоренившиеся питейные обычаи и привычки и, наконец, ничтожное личное влияние на темную массу со стороны просвещенных лиц, очень часто зараженных общим недугом. В результате получается ряд диких и прискорбных явлений.

Существующие в законе постановления, запрещающие питейную торговлю вблизи храмов, дворцов, заводов, и равно ограничительные часы торговли, а также право сельских обществ ходатайствовать о закрытии кабака, хотя бы казенного, остаются по-прежнему в силе. Запрещается в заведениях продавать напитки в долг, под залог вещей, пьяным и охмелевшим людям малолетним, а также допускать вход в заведения тем лицам, которым это воспрещено.

*** Конечно, среди и этих случайных смертей немало выпадает на долю алкоголиков.**

Свободный человек



Вопреки всем законам, среди рабов и господ (таких же, впрочем, рабов) появляются люди, наделенные абсолютной внутренней свободой. И если сохранилось что-то человеческое в нашей жизни, то только благодаря воле конкретных людей, тех, кто «выбирал свободу быть просто самим собой». Именно таким был Владимир Борисович Кобрин. И сейчас, в минуту прощания, хотелось бы сказать о нем не только как об ученом, но просто о человеке, с которым посчастливилось встретиться.

Он происходил из семьи старинной, еще дореволюционной интеллигенции. Школьником делал записи в тетрадках на языке летописей и запросто общался с известными историками. Окончив МГУ, собирал по деревенским избам старинные книги. Работал в «Ленинке» с древними актами. И в «дискуссию» по поводу «Слова о полку Игореве» молодой ученый тоже не вкладывал никакого политического смысла: он просто высказал свое суждение как специалист. А политический смысл раскрыли другие (тоже специалисты своего рода).

Идеологии и партии составляют поверхностный ряд явлений, за которым во все времена скрывается главное — человек и его собственный выбор. Один врач соглашался признавать больного здоровым, а здорового больным, а другой — нет. Одному преподавателю можно было приказать: «такому-то студенту поставьте двойку, он антисоветчик» (или еврей, или просто лицо не понравилось), а к другому лучше и не подходить с такими разговорами. Один следователь пытками добивался признаний от невиновных, а другого, капитана ГБ, сгинувшего в лагерях за помощь диссидентам, профессор Кобрин не раз вспоминал как пример того, насколько аморально судить о людях по мундиру ведомства. Сам Владимир Борисович не ходил по улице с плакатами, но в каждой конфликтной ситуации неизменно поступал так, как подсказывали совесть и профессиональное достоинство ученого. И таких эпизодов в его жизни набралось слишком много для благополучной карьеры.

Слава богу, времена были не сталинские — он мог читать лекции вечерникам в пединституте имени Ленина, и вечернее отделение вдруг оказалось престижнее дневного. Владимир Борисович сумел передать ученикам единственное верное оружие против всякой идеологии — реальное знание, основанное на источнике. И отшлифованное многими поколениями исследователей искусство добывать из источников это знание. Вслед за С. Б. Веселовским он учил видеть в истории живых людей, а значит — и нравственный урок, поскольку «наука о человеке невозможна вне этической оценки».

Лекции в МГПИ составили курс русской истории от Рюрика до Петра с подробным описанием быта и нравов. Он не успел воплотиться в книги, но есть надежда восстановить его по конспектам для тех, кому уже не придется слышать живого голоса автора. (Редакция приглашает всех, кто располагает записями лекций В. Б. Кобрина, принять участие в этой работе.)

Вторая половина восьмидесятых принесла официальное признание. Кобрин мог не хуже других разменять былые конфликты с властями на конвертируемую валюту, однако в жизни его внешне ничего не изменилось. Единственным предметом роскоши в доме оставалась старинная немецкая машинка — свои рукописи профессор сам перепечатывал набело. И еще он съездил за границу, в Польшу, где оппонировал (по-польски, без переводчика) на защите диссертации по общим сюжетам нашего и польского средневековья.

Постоянно окруженный друзьями и учениками, он не был отгорожен архивными полками от злободневной политики и увлеченно следил за тем, как развивается последняя из русских революций; но он слишком хорошо знал прошлое, чтобы всерьез удивляться причудам настоящего.

Невозможно понять, почему он ушел так рано,— шестьдесят лет не возраст для историка,— не успев рассказать соотечественникам и половины из того, что знал и понимал в судьбе своей страны. Конечно, мы еще встретимся с ним, открывая новые книги («Профессия — историк» готовится в издательстве «Московский рабочий», а работа о русском быте средних веков существует пока в виде рукописи).

Но потеря эта невосполнима. И не только для науки. Слишком уж мало в новое Смутное время таких людей, как Владимир Борисович. Трагически мало.

И. Смирнов
Фото А. Юрганова

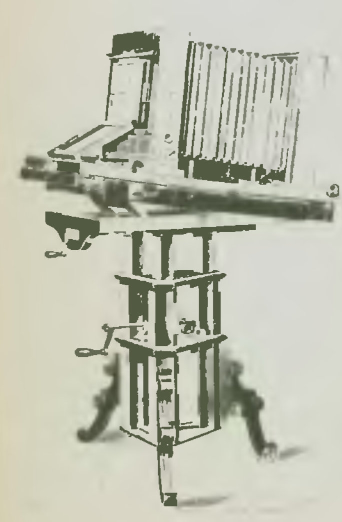
Фотография из личного архива автора.



Ю. Прокопцев

Фотоаппарат вашего дедушки

Первая мировая война. Артиллерийская батарея на коротком привале. В группе военных — мой отец, офицер в плаще, будущий командир Красной Армии. Такими семьдесят пять лет назад запечатлела их фотопластинка.



Универсальная павильонная камера.

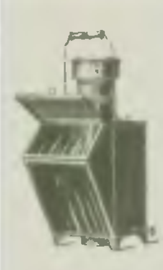
Фотоснимок — чудо, к которому мы привыкли на стопятидесятом году существования фотографии. Я же предлагаю вам «остановку» в середине этого исторического пути.

То была пора, когда по улицам городов побежали, оставляя дымный шлейф, первые автомобили; когда восторженные толпы стремились попасть на демонстрации полетов первых аэропланов; нарождающаяся радиосвязь уже помогла спасти людей, унесенных на льдине в море; военные моряки осваивали первые боеспособные субмарины, а в светских салонах утверждался танец танго.

К этому времени фотографические аппараты уже поднимались к облакам на воздушных змеях и аэростатах, фиксируя происходящее сверху. Уже была запечатлена трагедия Цусимы и созданы для потомков образцы высокого искусства художественного снимка. А главное — фотография прочно вошла в жизнь людей всех сословий и состояний.

Рынок России начала века предлагал покупателям десятки моделей фотоаппаратов, в основном заграничного производства, а также разнообразные принадлежности для съемки и лабораторных процессов, фотоматериалы. Заметное место в выпуске фотопродукции занимали простые, недорогие изделия. Ведь только в Москве фотопромышленность была представлена фирмами «К. Лоренц и К°», «Ф. Иохим и К°», «Фотограмм» Еропкина и Черепанова, «А. Д. Смолин», «И. Покорный», «И. Стеффен», зарубежными представительствами. Понятно, что развитая конкуренция заставляла заботиться об ассортименте, качестве продукции, о привлечении покупателей.

Фотоаппараты тогда были царством пластиночных



Американский фонарь.



Фотография из личного архива автора.

конструкций. Большинство простейших из них — «Гном», «Триумф», «Кобальт» и другие — имели ящичный корпус, покрытый шагреневым коленкором. Внутри размещались от шести до двенадцати стеклянных пластинок малого либо среднего формата. Секторный затвор обеспечивал одну моментальную скорость, роль диафрагмы играл вращающийся диск с рядом отверстий разного диаметра. Объектив состоял из одной-двух линз и имел весьма скромную светосилу.

Модели подороже обшивались сафьяновой кожей, металлические детали никелировались. Фотоаппараты снабжались иногда многолинзовыми, довольно светосильными объективами зарубежной фабрикации, которые давали изображение высокого качества. Подобные конструкции аппаратов выпускала и известная фирма «Вся Россия» К. И. Фреландта. Фирма славилась своими фотопластинками, которые можно было приобрести в самых отдаленных уголках страны. Высокое качество пластинок подтверждали отзывы видных зарубежных специалистов. Покупателям предлагался также широкий выбор химикалий для полной обработки снимков, для исправления возможных ошибок. Заметное место в продукции фирмы занимало производство фотобумаг. Поскольку большинство фотокамер того времени были крупноформатными и сделанные ими снимки не требовали обязательного увеличения, широкое распространение имела аристотипная бумага для контактной печати при дневном свете.



Камера Брауни № 1. Кодак.

Более солидные «дорожные» камеры были обычно складными с растягивающимся мехом, с наводкой на резкость по матовому стеклу. Их корпус делали из красного либо орехового дерева. Многие модели оснащены были невиданным тогда пневматическим спуском затвора с резиновой «грушей». К большинству таких аппаратов прилагался штатив, поскольку съемка с рук оказывалась затруднительной.

Модной диковиной стали получившие заметное распространение двухобъективные стереоскопические камеры, такие, как «Гиг» и зеркальная «Стереофлектоскоп» Фохтлендера.

Созвучно нарастающей динамике всего уклада общества совершенствовалась фототехника. Так, Герцем в Берлине был разработан и вскоре появился в российских магазинах объектив «Экстра-рапидлинкейскоп», светосила которого достигала нынешнего уровня. Другая модель этой же фирмы обладала большим, даже по современным понятиям, углом зрения 105 градусов. Оторваться от статических сцен давал возможность шторный затвор немецкой клап-камеры «Рекорд» — он имел регулируемую щель и поистине рекордную скорость спуска до одной тысячной секунды. Такое оборудование позволяло уже свободно снимать спортивные сюжеты, мчащийся локомотив и т. п. Конечно, стоимость подобного рода технических шедевров была высока.

Стремление избавиться от тяжелых, хрупких стеклянных пластинок, повысить оперативность съемки и обработки снятого материала привело к созданию в это время гибкой роликовой пленки. Появились и компактные, легкие в обращении аппараты под такую пленку, сконструированные в США.

Несколько особняком от массы переносных камер стояли павильонные аппараты, формат которых доходил до 80×100 сантиметров. Ими снимали немногие очень состоятельные любители, но в основном, конечно, фотохудожники-профессионалы. Построенные очень добротно, некоторые из этих аппаратов работают в фотоателье по сей день.

Извечное желание фотолюбителя инструментально определять экспозицию в конкретных условиях освещения могло решаться с помощью «активнометра Винна»; здесь чувствительным элементом служила полоска особой фотобумаги, время ее почернения до образцового уровня определялось по часам и пересчитывалось в длительность выдержки.

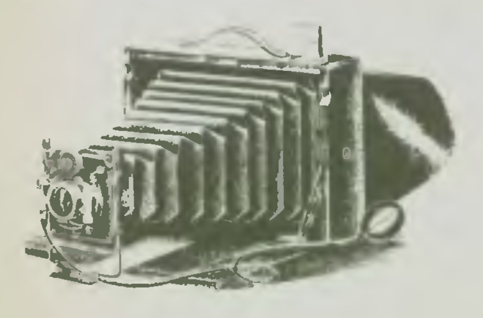
Большим успехом у публики пользовалась демонстрация диапозитивов на экране. Мой отец вспоминал, как, будучи гимназистом пятого класса, в переполненном зале Народного дома города Гродно он с помощью проекционного фонаря демонстрировал «волшебные картинки» на тематическом вечере. Принимали восторженно, и «сам» недосягаемо величественный директор гимназии публично благодарил и жал руку юному фотолюбителю-гимназисту.

С прежними фотоувеличителями современному любителю управиться было бы непросто. В них источником света служили специальные керосиновые лампы, как, например, в дорогом французском приборе «Клэтиль». Более скромные увеличители могли обходиться дневным светом. А в лабораторных фонарях часто использовалась обычная бытовая свеча.

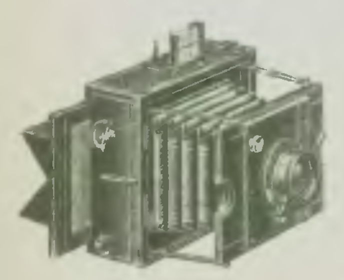
Прибор для воспламенения магния при вечерней съемке.

Аппараты для топографической съемки с привязного шара.

Пресс «Дуплекс» для горячего и холодного сатинирования.



Клап-камера «Александр».



Клап-камера «Рекорд».

Распространению любительской фотографии немало способствовали многочисленные периодические издания и отдельные руководства, такие, как журналы «Вестник фотографии», «Фотографические новости» и другие, справочники Ю. К. Лауберта, доктора Фогеля. Общедоступные фотографические общества предоставляли своим членам напрокат лаборатории, сложную дорогостоящую аппаратуру, библиотечный абонемент.

Разнообразие моделей, широкий диапазон цен позволяли любителю сделать выбор по своему вкусу и возможностям. Поэтому не исключено, что какой-то из упомянутых здесь или подобных ему тогдашних аппаратов имел и ваш дедушка. ●

ЗНАНИЕ — СИЛА 2/91

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи

Учредители: Всесоюзное общество «Знание» и трудовой коллектив редакции

№ 2(764)
Издается с 1926 года

23-1-14

Индекс 70332

Цена при подписке 80 коп., в розничной продаже — 1 руб. 50 коп.

Внимание! В течение года редакция намерена предоставлять своим читателям возможность подписываться на различные книжные издания.

В следующих номерах: подписка на двухтомник В. Зеньковского *«История русской философии»* и на сборник *«Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн и его оппоненты»*.

В дальнейшем — книга издательства «Гуманус», сборник статей по русской истории, сборник фантастики, индийская философия любви.

Оформляйте подписку на журнал! С этого номера розничная цена журнала поднимается до полутора рублей.



В НОМЕРЕ



М. Ларионов. Иллюстрация к стихотворению А. Блока «Скифы»

Сдано в набор 05.12.90. Подписано к печати 08.02.91. Формат 70×108 1/16. Офсетная печать. Гарнитура литературная. Печ. л. 6,0. Усл.-печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 12,56. Усл. кр.-отт. 26,4. Тираж 346 741 экз. Заказ № 2348

Адрес редакции: 113114, Москва, Кожевнический пр., 19, строение 6. Тел. 235-89-35.
Всесоюзное общество «Знание»: 101813, Москва, проезд Серова, 4

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской области

Подписка на журнал «Знание — сила» принимается без ограничений всеми отделениями связи.

ISSN 0130—1640. «Знание — сила». 1991. № 2. 1—96.

ISSN 0130—1640

ЗНАНИЕ-СИЛА 2/91

Этот номер посвящен России начала XX века